

83.3(БК23)

III 37

Сергей
Шевченко

522082

Повесть
о Павле
Васильеве

Будет вам
потеплование, мороз...



*90 - летию
со дня рождения
выдающегося русского
поэта
Павла Васильева
посвящается*



Про многих русских поэтов можно сказать, что судьбы их трагические... Дополнительное горе состоит в том, что мы вынуждены так говорить про самых лучших поэтов. Еще горше, что все эти лучшие русские поэты погибали в расцвете творческих сил, не договорив, не досказав, унеся с собой в могилу великую тайну своих нераскрытий еще возможностей... Мы никогда не узнаем, какая поэма потеряна для отечественной литературы вместе с Пушкиным.

Про Лермонтова нечего и говорить. Он не успел сказать и десятой доли того, что мог...

Блок умер в возрасте сорока лет, видя вокруг себя разорение отечества, голод и мор, кровь и насилие.

Есенин погиб тридцатилетним (так и хочется сказать про него - мальчишка!)... И, наконец, Павел Васильев.

С Лермонтовым его роднит не только юношеский возраст, до которого они успели дожить (26 лет), но и пронзительность и огромность таланта, но и те грандиозные потенциальные возможности, которые погибли вместе с поэтом.

Владимир Солоухин

Сергей Шевченко

*Будет
вам
пописование,
люди...*

Повесть о Павле
Васильеве



Издательство «Елорда»
АСТАНА•1999

ББК 83 Р7

Ш 37

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Шевченко Сергей.

Ш 37 Будет вам помилование, люди... -Астана:
Елорда, 1999, 260 с.

ISBN 5-7667-6494-4

Павел Васильев... Имя, дорогое сердцу каждого, кто любит и ценит настоящую поэзию. Поэт, проживший всего лишь 26 лет, погибший в сталинских застенках и оставивший большое, цельное, чудесное наследие. Поэт, благодаря которому Казахстан с его огромными просторами, с его самобытной культурой органично вошел в русскую поэзию. В этом смысле о нем можно говорить как о евразийском поэте.

Павлодарский писатель, журналист Сергей Шевченко предлагает читателям многолетний труд о жизни и творчестве своего знаменитого земляка, выдающегося русского поэта, 90-летие которого отмечается в 1999 году.

522082

Ш 4702010202-09
452(05)-99 13-98

ББК 83 Р7

ISBN 5-7667-6494-4

© С. Шевченко, 1999
© "Елорда", 1999

МОЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Долгим был путь автора этой книги к Павлу Васильеву. Поэта, стихи которого каждому русскому следовало знать с букваря в ряду самых славных имен отечественной литературы, долгое время будто бы и не было. Имя его не упоминалось не только в программах средней школы, о нем даже вскользь не говорили в вузовских курсах истории советской литературы.

В начале пятидесятых я познакомился с писателем Иваном Петровичем Шуховым. С самого начала его творческого пути он был замечен и обласкан Горьким, его роман “Ненависть” ставился в один ряд с шолоховской “Поднятой целиной”.

Мне было тогда около двадцати пяти лет, я только начинал читать курс литературы XIX века на литфаке педагогического института и пробовал свои силы в журналистике. Нетрудно представить, сколь лестным было для меня знакомство с маститым писателем. Немало было у нас застолий, приходилось вместе с ним бывать в гостях у местных газетчиков, у знакомых Ивана Петровича по селам его родного Пресновского района. Не раз вместе с ним выезжал в командировки в 1954 году, когда начался штурм целины. Я писал в областную газету репортажи, Иван Петрович замахнулся на книгу очерков о целине. В пути, на коротких привалах, вечерами после утоми-

тельных поездок он лихорадочно переносил на бумагу впечатления от увиденного и услышанного.

Как-то в глубинной степи, где не на чем глазу остановиться, я сказал, что в русском языке не найдется слов, чтобы описать окружающий пейзаж, нечего описывать.

Иван Петрович хмыкнул:

- Не только хорошей прозой все это можно описать, но и великолепными стихами. Вот, к примеру... Послушайте.

Тлела земля
Соляной белизною,
Сыпался дальний
Кизячий пал,
Воды
Отяжелевшего зноя
Шли, не плеща,
Бесшумной волною.
Коршун висел-висел -
И упал.

Кобчик стрельнул
И скрылся, как не были,
Дрофы рванулись,
Крылами гудя.
И цветы,
Уставившись в небо,
Вытянув губы,
Ждали дождя.
Травы хотели
Жить, жить!
И если б им голос дать,
Они б, наверно,
Крикнули: "Пить,
Пить хотим,
Жить хотим,
Не хотим умирать!"

- До чего здорово!.. Чьи это стихи?

- Так, одного знакомого, - ответил Шухов.

Иван Петрович прекрасно знал литературу, помнил наизусть великое множество стихов. Что-то из того, что он вспоминал, мне было знакомо, но иногда звучали и совершенно неизвестные мне, яркие строки.

Нередко, как бы про себя, он повторял четверостишие:

И бежит в глазах твоих Россия,
Прадедов беспутная страна.
Настя, Настенька, Анастасия,
Почему душа твоя темна?

А то вдруг, ни к кому не обращаясь, вопрошал:

Вы, присутствующие при чудостворении,
Вы слышите, как дерево поет?..

Всякий раз, когда услышав из уст Ивана Петровича удивлявшие и неизвестные мне поэтические строки или строфы, я допытывался, кто автор, он все отдельывался общей фразой об одном хорошем знакомом.

Но пришел все же день, когда имя неизвестного поэта было названо Шуховым. В тот памятный вечер зашел у нас разговор о женщине как царице мировой поэзии. Вспоминали Елену Прекрасную, из-за которой началась Троянская война, Клеопатру, Беатриче, Керн и многих других, кто вдохновил поэтов на прекрасные стихи. То Иван Петрович, то я приводили на память золотые строки из неисчерпаемой сокровищницы, ибо кого воспевают больше поэты, как не ее Величество - Прекрасную женщину.

Вдруг Шухов замолк на минуту, потом как-то значительно посмотрел на меня и сказал:

- А вот послушай. И стал читать.

В наши окна, щурясь смотрит лето,
Только жалко - занавесок нету,
Ветряных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!
И еще прощеньем прибалую -
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог!..

Воспроизвожу это стихотворение, как и предыдущие, тоже, разумеется, не по памяти, но хорошо помню первое впечатление от чудесных строк. Я буквально замер, ощущив их полновесную силу. А Иван Петрович торжествующе продолжал:

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Все в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ.
Называет “прелестью” и “павой”,
И шумит во след за величавой:
“По стране красавица идет”.
Так идет, что ветки зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят!

И видя, что ошеломил, поверг меня каскадом блистательных строк, сказал:

- Стихи эти называются “Стихи в честь Натальи”.

- Кто написал? Почему имя такого поэта мне неизвестно? Может быть, это ваши стихи? - засыпал я Шухова вопросами.

- Мне такие стихи не написать. Чувствуете, какой здесь талантище?

- Ну назовите же, наконец его. Догадываюсь, что это все тот же ваш таинственный хороший знакомый. Кто же он? Что еще написал?

- Кто-кто, - проворчал Шухов. - Друг моей юности Пашка Васильев, вот кто. А погиб он в тридцать седьмом. И было ему всего двадцать шесть. Поэтическое наследство у него немалое, да только не вышло у него ни одного сборника, а имя его, как врага народа, вычеркнуто из истории, будто его и на свете не было...

В тот вечер Иван Петрович расчувствовался и многое рассказал о своем друге: "Нас многое сближало. Оба азиаты, из Казахстана, знали степь, язык и обычаи казахов не понаслышке. Знакомы были с бытом, традициями, песнями казачества, свой брат - станичники. Вместе выступали на литературных вечерах в Омске, печатались в одних изданиях. Я тогда еще тоже баловался стихами. Мы даже женаты были на сестрах Анучиных, я - на Евгении, он - на Галине. Прекрасная была пора - молодость, "буйство глаз и половодье чувств", большие надежды. А Павел был - высокий, красивый, лихой, искрометный. Кудри рыжеватые - шапкой над лбом. Эх! Его же строчкой если воспользоваться: "Кудерем одним подожгет што хошь"... Гениальный был поэт. Все же, верю, когда-нибудь вернется он в литературу и люди ахнут от яростных и блистательных его стихов".

То было первое мое прикосновение к завораживающему миру поэзии Павла Васильева.

В годы “оттепели” имя поэта было возвращено истории, вышли первые сборники его произведений. Павлодарцы особенно близко к сердцу приняли судьбу поэта-земляка, и местные почитатели его таланта немало сделали для сбора воспоминаний о нем, неизвестных его произведений, пропаганды его поэзии. Результатом многолетних их усилий стало открытие в Павлодаре дома-музея Павла Васильева. Огромная заслуга в создании Васильевского заповедника принадлежит Лидии Григорьевне Бунеевой, знатоку и страстному пропагандисту наследия поэта.

Судьбе было угодно, чтобы мне на склоне лет выпало счастье работать научным сотрудником этого Васильевского заповедника.

За эту книгу я взялся, не претендуя на роль первооткрывателя имени поэта и его творческих глубин. В этом плане многое сделано до меня его близкими Е. Вяловой-Васильевой, И. Гронским, писателями и литературоведами П. Косенко, С. Поделковым, А. Михайловым, В. Сорокиным, П. Выходцевым, Е. Беленьким, Ю. Русаковой, С. Куниевым, учеными Т. Мадзигон, С. Шаймерденовой и другими. Заметный вклад внесли в изучение жизни и творчества поэта покойный усть-каменогорский краевед С. Черных и алматинский литературовед Г. Тюрин.

Вместе с тем полной, документально выверенной биографии поэта до сих пор нет. Авторам первых книг о Васильеве многие факты его биографии были еще неизвестны, а об иных нельзя было сказать правду. Возвратить поэту право на место в

истории советской литературы нельзя было и по-мыслить в недавние еще времена, не доказав его “советскости”. В силу этого первые исследователи творчества поэта вынуждены были выпячивать не лучшие, а “идейно выдержаные” его произведения, которые поэт скорее всего не включил бы в свои сборники. В иных случаях дело доходило до курьезов. В Омском историко-краеведческом словаре (Москва, 1994 г.) в биографической справке о Павле Васильеве написано: “За короткий срок создал цикл стихов о строительстве социализма в Сибири и Казахстане”. Невозможно более исказить облик поэта. Кому захочется после такого представления раскрыть книжку с его стихами?

В последнее десятилетие усилиями исследователей обнаружены новые материалы о жизни и творчестве поэта, изучены протоколы следственных дел 1932 и 1937 годов. Но публикации об этих находках и открытиях рассеяны в периодической прессе и по малотиражным, недоступным широкому читателю изданиям.

Больших поэтов каждое новое поколение прочитывает по-своему. Творческое наследие Васильева, отразившее трагические изломы нашей истории, у нынешних читателей найдет более глубокое понимание, чем в недавние времена общей идеологической зашоренности...

День за днем шли в деревянном двухкомнатном домике на берегу Иртыша. Под рукой было собрание книг, журналов, документов, аудио- и видеозаписей, дух Павла Васильева витал в этом доме, и сами стены его помогали мне писать книгу, которую, как говоривали в старину, я и предлагаю вниманию благосклонного читателя.

ИСТОКИ

Долгое время над Павлом Васильевым тяготело проклятие его “вражеского” социального происхождения.

В 1929 году в журнале “Настоящее” черным по белому было напечатано: “... сын богатой кулацкой семьи. Поэтому так враждебно настроен он против советской власти. Из его стихотворений смотрит лицо классового врага”.

В Литературной энциклопедии, изданной уже в шестидесятые годы, читаем: “отец... выходец из среды семиреченского казачества, мать - семиреченская казачка”.

В печатном доносе и в энциклопедической справке все неправда. Но, допустим, это было бы так на самом деле. Какое отношение имело бы это к оценке его как поэта? У поэта могут быть хорошие или плохие стихи, и только это должно определять его место в истории литературы. А в цитировавшихся строках содержался категорический посыл: Павлу Васильеву нет места на советском поэтическом олимпе уже потому, что он непролетарского, небатрацкого происхождения.

Поразительна прилипчивость иных, со злым умыслом или по неведению пущенных в оборот оценок, мнений, определений.

Что тридцатые годы? Е. Евтушенко издал свою “Антологию русской поэзии XX века” в наши дни. Но и в ней читаем: “Отец и мать Павла Васильева - выходцы из семиреченских казаков...”.

Вопрос о социальном происхождении десятилетиями был у нас одним из главных критериев при определении людских судеб. Идеальным для человека, как утверждали злые языки, было, если бы у него нашлись основания на вопрос анкеты о соцприсхождении ответить: сын крестьянки и двух рабочих.

В годы, когда началась реабилитация поэта, поклонники его таланта установили, что дед Павла Васильева по отцу был пильщиком, т.е. наемным рабочим и совсем не казак, а дед по матери - всего-навсего мелким торговцем, лавка которого, к счастью для репутации внука, сгорела во время большого пожара в Павлодаре в 1901 году, так что в купцы дед так и не выбился. Отец поэта был учителем. Васильеведы ликовали: доказано с документами в руках - поэт по социальному происхождению, хотя и не стопроцентный пролетарий (из служащих), но и страшным клеймом принадлежности от рождения к вражескому стану не мечен.

Формирование будущего поэта шло, естественно, прежде всего в семье, с которой ему “повезло”: интеллигентными родителями, книгами в доме немногие могли тогда похвастаться. По большому же счету на личность гениального юноши

свое неизгладимое “тавро” наложили природа края и тот особый менталитет (воспользуемся модным словом), который был свойственен потомкам кондотьеров, первопроходцев, ссыльных, усваивавших в немалой степени и обычай степняков, а нередко и роднившихся с ними по крови.

Думается, поэтому вовсе не лишним будет предложить читателям краткий очерк истории этого своеобразного края.

Иртыш, как и всякая большая река, - дорога веков. С древнейших времен освоение пространства земли, рассеивание племен и народов по ее лицу шло прежде всего вдоль рек. Они же, реки, часто становились и рубежами между народами и государствами. Иртыш, в меридиональном направлении протекающий из самых глубин азиатского материка на несколько тысяч верст, такой дорогой не мог не стать. Вверх по реке Россия была подвигнута и политическими видами империи и дружественными отношениями с казахской степью, вынужденной искать у могущественного соседа защиты от воинственных джунгар.

Павлодарское Прииртышье та часть великой степи, где два народа - казахи и русские - вошли в мирное соприкосновение более трех веков назад. Вначале проникала сюда вольница, искавшая не столько новых земель, сколько легкого способа жизни путем грабежа и обмана местного населения. Составляли ее главным образом беглые преступники, разного рода сектанты. Вслед за ними шли “проводыватели землиц” и промыс-

ловые люди, наслышавшиеся о сказочно богатом солью Ямыш-озере.

Соль долгое время была в великой цене. Не случайно издавна повелось встречать почетных гостей хлебом-солью. Не от хорошей жизни месяцами тащились на волах чумаки через всю Украину за солью в Крым. Только зная все это, можно понять, откуда нашел для донесения едва зневший грамоту землепроходец столь поэтические слова о соли в Ямыш-озере: “бела, аки снег, сладка, аки сахар, вельми солка”.

Подполковник Бухгольц в 1715 году с отрядом в три тысячи человек пришел к Ямыш-озеру и основал там укрепление. Десятитысячное войско джунгар обложило крепость и вынудило русских уйти. На обратном пути Бухгольц заложил крепость в устье реки Оми, что и явилось началом освоения Омска.

Через несколько лет русские осуществили поставленную цель, Ямышевская крепость стала одним из форпостов дальнейшего проникновения в степь. Долгое время она была и местом обширной меновой торговли.

Со временем былое значение ямышевского солепромысла было утеряно и добывать соль стали в озере Коряковском, названном так по фамилии купца, основавшего эту добычу. А на берегу Иртыша в 1720 году был основан форпост Коряковский.

Вначале правительство ссылало сюда то взбунтовавшихся запорожцев, то пленных из великой армии Наполеона, то поляков, то осужденных за

разные преступления. Это был не только верный способ избавиться от беспокойного элемента, со временем новопоселенцев стали использовать в правительственные видах. Их жаловали казачьими привилегиями, и бывшие возмутители становились охранителями. Именно таковыми государственными видами постепенно смягчались и меры наказания. Царствующие особы своими указами регламентировали, за какую вину сколько раз и чем (кнутом, батогами, шпицрутенами) бить, как бить. Отсечение рук, ног, пальцев заменилось ссылкой с клеймением лба и вырыванием ноздрей.

Женщин служивым людям не хватало, их брали силой или за выкуп. С учетом такой нужды в женщинах воспоследовал указ - преступниц по наказании кнутом ссылать, не вырывая ноздрей и не ставя на лице знаков. Спрос на такого рода невест был велик. В архивах сохранилось отношение ишимской воеводной канцелярии от 11 октября 1759 года. Документ гласит: “Девки и женки в оной канцелярии были просмотрены и явившиеся способными к замужеству - 33 при сем посланы в Омскую крепость для распределения по выбранным mestам”. По степени виновности будущие основательницы и охранительницы семейных очагов распределялись так: за зажигательство - 4, отцеубийство - 1, мужеубийство - 8, убийство - 8, воровство - 2, бегство - 3, за порчу травами и волшебными словами - 2, детоубийство - 4, укрывательство - 1.

Продвигаясь вверх по Иртышу на стругах, дощаниках, челноках, плотах, а вдоль берега пеше и конно, первопроходцы знали на реке каждую излучину, быстрину, перекат, каждый яр, остров. Те, кто, осмотревшись вокруг, решили поставить первое жилье, давшее начало Павлодару, оценили многое: высокий и крутой берег, два рукава реки, образующих множество островов, богатейшую пойму левобережья, впадение в Иртыш неподалеку небольшой речушки, обилие речных плесов, заводей, крутояров, стариц. Все вместе сулило сено, рыбу, строительный материал, грибы, ягоды. И совсем недалеко - верстах в десяти - соляное озеро. А соль, как уже говорилось, была одной из главных целей русского проникновения в эти места.

До революции тон в Павлодаре задавали купцы. Именно их стараниями станица Коряковская в 1861 году обрела статус города и новое наименование, получило развитие пароходство на Иртыше. Первый пароход "Ура" купца Биргина пришел в Павлодар за солью в 1861 году. Для встречи его высыпало все население. Дым из трубы, красные вертящиеся колеса многие обыватели склонны были приписывать нечистой силе. Но прогресс набирал силу. В 1872 году через Павлодар прошла телеграфная линия Омск-Семипалатинск.

В конце XIX - начале XX века в городе появились несколько каменных купеческих особняков, торговые ряды. Почти сотня ветряных мельниц придавали городу с северной его сторо-

ны своеобразный силуэт. На восточной окраине работало несколько салотопенных, мыловаренных, свечных, кожевенных, кирпичных заводиков. Казаки селились отдельно, в станице, рабочие-речники - в части города, называвшейся Затоном, мещане - в Самарской слободе, "жатаки" - выходцы из степи, работавшие на соли, грузчиками на пристани, извозчиками, конюхами у купцов - в пригородном поселке, в обиходе так и называемом "Жатак".

В городе были мечеть и две церкви, строился еще Владимирский собор, обещавший стать самым крупным сооружением такого рода на Иртыше. Собор до 1917 года достроить не успели.

Одной из главных достопримечательностей города была тюрьма. В календаре, изданном в Семипалатинске в начале века, город описан так: "Представьте, читатель, лишенную всякой растительности равнину с желтовато-глинистой почвой, а местами и обвисшие берега Иртыша, несколько улиц с деревянными домиками, среди которых каменное здание тюрьмы выглядит настоящим дворцом".

Население Павлодара составляло тогда чуть более семи тысяч человек. В 1901 году здесь был страшный пожар, выгорело две трети города.

Корреспонденция, опубликованная в одном из номеров омской газеты "Степной край" в 1898 году, так живописует быт городка: "Ночные дебоши, устраиваемые г. С. с подкреплением не только винных паров, но и людей, которые являются не добровольцами его шайки, а подне-

вольными исполнителями, - этиочные дебоши наводят панику на мирного нетитулованного обычавателя, так как дебоширы имеют обыкновение являться нежеланными гостями "на огонек". Осмотрительный обычатель старается пораньше закупориться в своем доме и скрыть все признаки своей жизни".

Впрочем, и сам нетитулованный павлодарский обычатель не чужд был радостей земных. Зимой шумно справлялись рождественские праздники с катанием на санях с обледенелого яра, со святочными гаданиями. Но особенно широко гуляли на масленицу. Красочное описание этого гулянья, когда павлодарский "свет" днем, выхваляясь друг перед другом богатством, разъезжал по городу в санках, розвальнях и кошевках, а вечерами "до изнеможения ел блины и пил водку", оставил Все-волод Иванов в своей книге "Похождения факира". Заключает это описание он такой фразой: "Масленица продолжается... лица катающихся совсем заплыли, и едва ли сорок дней поста смогут отдельать их заново".

На Коряковском озере близ города сотни рабочих, главным образом казахов, вручную "ломали" соль. На быках и верблюдах соль перевозили затем к Иртышу, где ее складывали в "Бугры". Местное купечество богатело также на скупке и перепродаже хлеба.

С началом освоения промышленного Экибастузского месторождения каменного угля развилось горное дело: была построена стодесятиверстная железнодорожная ветка. В 1902 году в Пав-

лодарском уезде числилось 59 иностранных подданных. Уже не только отечественный, но и зарубежный капитал находил себе выгоду в этих краях.

Кроме церквей, минарета, нескольких кабаков и ресторана, в Павлодаре появился кинематограф, зимой работал платный каток, на котором играл оркестр пожарников. Летом вечерами горожане выходили “гулять” к пристани, где прибытие пароходов вносило праздничное оживление в однообразие жизни.

Привилегированное сословие в поселениях до самых верховий Иртыша составляло прииртышское казачество. Основывая форпосты, казаки вытесняли казахское население в глубь степей, лишая их лучших выпасов и сенокосов. Царским повелением была даже учреждена десятиверстная полоса отчуждения - пять километров по правобережью и столько же по левому берегу, в котором коренному населению не разрешалось селиться, пасти скот, заготавливать сено.

Вот как поэтически осмысливал своеобразие природы и истории края Павел Васильев.

Край обилен. Пониже, к пескам Чернолучья,
Столько птицы, что нету под нею песка,
И из каждой волны осетриные жабры да щучьи...
И чем больше ты выловишь - будет все гуще и гуще,
И чем больше убьешь - остальная жирней и нежней.
А к Ишиму, к аулам, курган на курган,
И трава на траву, и луна на луну, и звезда под копытом -
Воеводство коровьего рева, курчавое море овечье,
Лошадиные реки, тяжелый кумыс в бурдюках,

Земли стонут от сырости, истосковавшись под ветром...
К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли,
Подошли, словно к горлу, тряслись по дорогам товарным, -
Там, где сабля встречалась с копьем и щитами,
Крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман.
А станицы тянулись туда, где Зайсан и Монгол,
От зеленой волны и до черной тянулись и крепли,
Становились на травах зеленых, на пепле,
На костях, на смертях и веселую ладили жизнь
Под ясачным хоругвем ночных грабежей и разбоя...

Вопреки колонизаторским устремлениям империи и сословным интересам казачества два народа находили пути для сближения. Русские принесли в степь навыки земледелия, рудознательство, начало просвещения. Переселенцами, в свою очередь, перенимались у местного населения приемы скотоводства, одежда, утварь, некоторые обычаи.

В архивах сохранилось любопытное донесение одного из здешних пастырей в Синод, в котором тот жаловался на оскуднение веры среди казаков. Казаки, сообщалось в донесении, “летом под предлогом пастьбы скота уходят в степь к безбожным киргизам, где перенимают их обычай, едят лошадиное мясо и пьют кобылье молоко, что противно законам божиим”.

Мирное соседство способствовало сближению не только на бытовом уровне. Шел глубинный процесс взаимопроникновения и взаимовлияния духовности двух народов, европейской и азиатской культур.

И очевидно не случайно Павлодарское Прииртышье стало колыбелью для целого созвездия ярких имен писателей, поэтов, музыкантов, певцов. У казахов это Жаяу Муса, Султанмахмут Торайтыров, Сабит Донентаев, Иса Байзаков и другие. Из русских, прославивших край, звезды первой величины несомненно Всеволод Иванов, Александр Новоселов, Антон Сорокин, Павел Васильев. И звезда Павла Васильева в этом созвездии, пожалуй, самая яркая.

ПУТЬ К ОКЕАНУ

8 сентября 1906 года в уездном городе Степного края Павлодаре венчалась молодая пара - Николай Васильев и Глафира Ржанникова . Невеста сияла юной красотой, под стать ей был и жених - стройный красавец с пышной шевелюрой выносящимися, с медным отливом волос.

Красочные шумные свадьбы в Павлодаре были не в редкость. Эта же свадьба привлекла особое внимание обывателей. И на то были свои причины. Завидным женихом на всю округу был Николай Корнилович Васильев. Капиталами, правда, не ворочал, но похвально окончил учительскую семинарию. Дипломированный учитель математики - значит обеспечит семье безбедную жизнь, всегда будет в почете. Единственная дочь мелкого торговца Матвея Ржанникова Глафира с отличием закончила гимназию, была начитана, знала французский язык. По меркам захолустного степного городка, где и простой грамотой большинство жителей не владело, пара во всех отношениях примечательная.

Как перспективный учитель Васильев был направлен заведовать мужским приходским училищем в Зайсан, что почти на самой границе с Китаем. Первенец, родившийся у Васильевых через

год, умер в младенчестве от дизентерии, свирепствовавшей здесь. Эта же болезнь унесла и второго ребенка. 23 декабря 1909 года там же родился Павел, будущий поэт.

Но долго в Зайсане семья не задержалась. В последующие годы Васильев заведовал школами в станице Сындыктавской, в Атбасаре, в Петропавловске, Омске. В семье один за другим появились еще три сына - Борис, Виктор и Лев. Нелегкой была эта кочевая жизнь, тем более, что строить ее приходилось в водовороте тех социальных катаклизмов, которые выпали на второе десятилетие века. Васильевы жили в Петропавловске, когда там развернулось кровавое противостояние красных и белых, в Омске, когда "Верховный правитель России" Колчак сделал свою столицей. Николая Корниловича принудительно мобилизовали в белую армию, и ему с великим трудом удалось вырваться из нее.

В 1920 году, преизлиха хлебнув мытарств, неустроенности в чужих краях, Васильев добился направления в родной город. Здесь и прошло отрочество Павла, здесь вступил он в юность, отсюда шагнул к шумной славе и к своей голгофе.

Каким увидел Павлодар десятилетний мальчик, за какой-нибудь месяц избегавший город вдоль и поперек, что узнал о новом своем местожительстве от дружков, которыми быстро обзавелся?

Очаровал и навсегда приворожил к себе мальчугана Иртыш. Местная детвора все лето пропадала на реке. Купались до "гусиной кожи", ры-

бачили, грелись на горячем песке. Любимым их местом был высокий крутой берег, где Иртыш делал крутой поворот... “Гусиный перелет” называли павлодарцы это место. Здесь по весне и осени, пролетая с юга на север и с севера на юг, белым облаком садились на воду отдыхать гуси. Ребятня вскарабкивалась вверх по откосу, откуда “бочонком” скатывалась в воду. Павел быстро выучился плавать не хуже других, а через два-три года отваживался переплыть Иртыш. По воскресеньям на лодках павлодарцы устремлялись на левый берег за щавелем, луговым луком, груздями, черемухой, бояркой.

Коренные мальчишки еще называли улицы по-старому - Ильинская, Телеграфная, Троицкая, а Павел с ходу усвоил новые их наименования - Ленина, Дзержинского, Цеткиной, Люксембург, Либкнхекта. Пароходы, тоже получившие новые имена, - “Карл Маркс”, “8 февраля”, “Третий интернационал”, “Коммунист”, “5-е октября”, - местные жители упорно называли “Андреем Первозванным”, “Святым Николаем”, “Витязем”.

Речные гудки, иртышский плес
И тополь в одежде рваной.
Я помню твой белогрудый рост,
Гусиные лапы твоих колес,
Твой рев “Андрей Первозванный”,

через годы вспомнит Павел Васильев.

Излюбленным обычаем павлодарцев было чаепитие. Куда ни зайди, на столе пыхтит самовар, хозяева чаевничают. С жару с пылу из русских

печей подавали горячие пироги, калачи, шаньги.

В огородах около домов и на бахчах всюду колыхались на высоких стеблях солнцеликие подсолнухи. Семечки лузгали дома, на улице, на сорваниях, в кино.

В августе-сентябре вниз по Иртышу в Омск, Тару и другие города сплавляли на деревянных плотах горы арбузов. В городе был большой и шумный базар, на который съезжались сотни подвод. Летом там с утра до вечера крутилась карусель. Был и невзрачный дощатый цирк, где, смеяния друг друга, выступали кавказские джигиты, канатоходцы, акробаты, укротители зверей, клоуны, проходили сеансы французской борьбы. В здании бывшего кинотеатра "Фурор", переименованного в "Искру", крутили "Папиросницу из Моссельпрома", "Смерть дипкурьера", "Индийскую гробницу", "Хижину дяди Тома", "В дебрях Африки". Фильмы были немые, но "киношка", как магнитом, притягивала к себе ребятню.

Конечно, не обойти было белокаменный каземат, царивший своей громадой среди приземистых домишек. Новые друзья Павла не преминули рассказать страшную историю о зверской расправе отступавших год назад анненковцев с коммунистами. Штыками и прикладами закололи и забили насмерть более тридцати узников, уже слышавших гул артиллерийской канонады неотвратимо накатывающейся Красной Армии и поверивших в близкое избавление от муки... Дождались озверевших палачей черного атамана.

Васильевы и Ржанниковы, родня Павла по отцовской и материнской линии, жили, как водилось в старину, “большим гнездом”. Это позже семью Николая Васильева размечет по великой стране - самому ему и старшему сыну выпадет сгинуть в застенках НКВД, сыну Льву сложить голову на фронте, младшему - Виктору отсидеть десять лет в лагерях, Глафире Матвеевне - оплакать мужа и сыновей и безвременно уйти из жизни.

А тогда у Павла, кроме родителей и трех младших братьев, были дедушки и бабушки по отцу и матери. Сказочницей была бабушка по матери. Это из ее, наверное, сказок войдут в поэзию Павла Васильева “русалки с щучими хвостами”, “бабаяга в сарафане пестром, без уздечки, без седла восседающая “на месяце востром”. Но “главным” среди старииков был дед Корнила, могучий мужик, бахчевод, рыбак, лошадник.

В ту пору в житейских отношениях русских с казахами распространенным было “тамырство”. Оно возникло на экономической основе как форма товарообмена между кочевым и оседлым населением. Завязывавшиеся при этом знакомства нередко перерастали в крепкую дружбу-тамырство. Неписанные законы тамырства требовали безусловного уважения к обычаям, религии друг друга; в трудных ситуациях (джут в степи, неурожай) тамыры обязаны были приходить другу на помощь. Никто сверху не навязывал, на каком языке им общаться, они сами хотели понимать друг друга, и казахи усваивали русский, русские - казахский.

Дед Корнила имел не одного тамыра в окрестных аулах. Нередко степняки были гостями в доме Васильевых. В таких случаях ставили двухведерный самовар, жарили баурсаки, на кухне расстилали мягкую белую кошму. Завязывался разговор о ценах на скот, соль, о погоде, о новостях. Корнила Ильич тоже гостили в аулах. Там его принимали по степному этикету: тут жерезали барана, гостя сажали на почетное место. Нередко дед отправлялся в аулы смотреть байту, кокпар, борьбу, прихватывая с собой и любимца Пашу. Все было диковинно и интересно мальчику в этих поездках. В его памяти навсегда останутся степь, юрты, люди в необычной одежде, гортанный их говор, конский топот, приглушенный рокот домбры.

Николай Корнилович - в отца крупный видный мужчина был человеком крутого склада. Ремень в доме висел на видном месте не для украшения. Особенно часто перепадало озорному Павлу. Глафира Матвеевна тайком жалела детей, но самовластному супругу особенно перечить не смела. Именно она с детских лет приобщила Павла к литературе, прежде всего стихам Пушкина, Лермонтова, Некрасова. По воспоминаниям одноклассников, любимой книгой Павла, с которой он никогда не расставался, был том со стихами Пушкина.

Сергей Поделков в биографическом очерке о Павле Васильеве заметил: "Духовное развитие поэта происходило в среде провинциального учительства, игравшего громадную роль в России.

Учителя несли в народ не только грамоту, но и передовые идеи русской интеллигенции, они были “универсалами” - учили детей, ставили спектакли, знакомили население с классической литературой и музыкой”.

Действительно, Павлу Васильеву выпало счастье получать знания у учителей, подготовленных не на массовых потоках педвузов, а, так сказать, “штучных”. Заметной фигурой был сам заведующий школой Николай Корнилович, человек блестящих способностей, умелый организатор школьного дела. В его послужном списке заведование школами в Зайсане, Сындыктаеве, Омске. В послереволюционные годы он печатался в “Учительской газете”, учил методике преподавания студентов Омского пединститута.

На всю жизнь оставил у своих воспитанников благодарную память о себе Давыд Васильевич Костенко, интеллигент в лучшем смысле этого слова. Язык не поворачивается назвать его учителем литературы и русского языка. Более подходит к его облику вышедшее из употребления наименование - “словесник”. Он не “проводил” уроки, а вел с учениками тот разговор “о славных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви”, о котором так тосковал в изгнании Пушкин и который так нужен юности. Он глубоко знал литературу, помнил наизусть множество стихов, артистически читал. В его методике преподавания главным было не препарирование литературных текстов, а стремление донести до слушателей неповторимую прелесть самих произведений ве-

ликих мастеров слова. Ярко, живо рассказывал он о их жизни, и всякий раз ненавязчиво внушил, что вершин в своем творчестве они достигали благодаря не только природной одаренности, но и величайшему трудолюбию, настойчивости в достижении целей.

- Вот Лев Толстой, - говорил он. - Да, гениально одаренный человек. Но посмотрите, какую программу самообразования, превосходящую объем программы любого вуза, составляет и осуществляет он смолоду, решив стать писателем: читать и переводить классиков для выработки своего стиля, физически закалять себя, готовясь к напряженному труду, бросить курить, заниматься спортом. Или возьмите Добролюбова. Двадцать пять лет прожил человек, а какой след оставил о себе. Тургеневу казалась непостижимой колоссальная начитанность этого молодого человека. А дело не только в его выдающихся способностях. С двенадцати лет, подчеркиваю, с двенадцати лет и всю жизнь Добролюбов вел подробнейший "реестр" прочитанных книг с краткими замечаниями по их содержанию...

Костенко великолепно катался на коньках и не считал для себя зазорным выходить на каток вместе с учениками, играл на скрипке. О незаурядности этой фигуры говорит его дальнейший жизненный путь. После Павлодара Костенко работал в Министерстве просвещения республики, написал ряд пособий для учителей, был удостоен звания "Заслуженный учитель Казахстана". Такой словесник, естественно, не мог не выде-

лить среди учеников Павла с его восприимчивостью к поэзии. Известно, что он всячески поощрял подростка в его первых поэтических опытах, привлекал к участию в выпуске школьной стенгазеты, чтению стихов на школьных праздниках.

Не менее яркой, только еще более колоритной фигурой в школе был учитель рисования и черчения Виктор Павлович Батурин.

Ему было уже за шестьдесят, во внешнем его облике было нечто стасовское (по Репину) - богатырское сложение, густая седая борода, настоящий патриарх. В Павлодаре он оказался в смутном 1919 году и прожил десять лет. Это был талантливый художник из знаменитой плеяды художников-передвижников, самыми крупными фигурами среди которых были В. Перов, И. Шишкин, Н. Ге, И. Репин, И. Левитан. Картины Батурина были представлены на всемирных выставках в Сен-Луи (Франция) и в Берлине, экспонировались на Всероссийской выставке в Новгороде в 1886 году; две из них - "Рубка леса" и "Горный пейзаж" ныне в собственности Третьяковской галереи. В числе личных друзей Батурина был И. Репин, Виктор Павлович переписывался с Л. Толстым, и после его смерти неоднократно бывал в Ясной Поляне, о чем сохранились записи в дневнике Софьи Андреевны. В пейзажах Батурина необыкновенно точно умел передавать зеркальность водной глади, прозрачность осеннего воздуха. Его картины реалистичны и одновременно глубоко лиричны.

Соученики Павла Васильева, вспоминая об этом необыкновенном учителе, отмечали, что уроки его проходили необычно. Он учил не только в классе, но и ходил с ребятами на Иртыш, в степь, учил вглядываться в природу, чувствовать ее. Часто приносил на уроки литографии картин, памятников архитектуры. Учил не только технике рисования - как определить точку общего схождения, как на расстоянии переносить предмет на бумагу, но и умению видеть и понимать живопись, тайны зодчества и ваяния. Если учесть необыкновенную восприимчивость детства вообще и такого одаренного подростка, каким был Павлик Васильев, несомненно огромное влияние Батурина на образный строй его поэзии. Прямые аналогии, конечно, вряд ли здесь уместны. Но разве не свидетельство тому дошедшее до нас детское стихотворение:

Если бы художником я был,
Сказки эти я б в картину воплотил,
И явились призрачно красивым сном
Эти сказки, эти песни и мечты,
Запестрели бы красивые цветы,
Розы, лилии и хризантемы.
Но всего лишь скромный я поэт,
Собираю маленький букет.

“Поэзия и живопись - есть одно и то же”, - часто повторял Виктор Павлович.

В стихах зрелого поэта это стремление в “картину” все воплотить выражается необыкновенной живописностью, буйством красок и образов.

“.. Тишина такая,
Что даже тень косая
От коршуна скользящего слышна”,

как не вспомнить Батурина, внушавшего ребятам, что даже тишину художник может изобразить. Не его ли рассказы о скульпторе Клодте и литографии с остановленными на скаку конями на Аничковом мосту навеяли поэту образы вставших, как памятники, коней, “Жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями, как розы?”

Н.К. Васильев, В.П. Батурин, Д.В. Костенко были “тремя китами” школы, а еще были учитель немецкого языка Дейнека, человек не без странностей (холостяк, франт, вегетарианец), знавший шесть языков. Федор Ефимович Кремнев учил петь по нотам, создал при школе многоголосый хор и оркестр струнных инструментов.

Соученик Васильева Анатолий Суров, вспоминая о павлодарской школе, отметил: “Позже я сам учительствовал, но такой школы уже не встречал”.

Не боясь обвинений в чрезмерном местном патриотизме, на основании сказанного смею утверждать, что школа, в которой учился Павел Васильев, по образованности и талантливости педагогического состава, по уровню учебной работы вряд ли во многом уступала царскосельскому лицею. Разве что мазурку танцевать, по-французски изъясняться и фехтованию не обучали. Ну а Закон божий заменили обществоведением. Впрочем, преподавание этих дисциплин ни в пуш-

кинские, ни в васильевские времена не принесло тех плодов, которыми могли похвалиться: Пушкин стал автором “Гаврилиады”, Васильева обвинили в злоумышлении на жизнь самого вождя.

К счастью, Павел закончил девятилетку раньше, чем в школах начались бессмысленные эксперименты по переходу на так называемые комплексные программы, предусматривавшие ликвидацию предметного построения учебного плана, замену классов звеньями и бригадами, уроков - экскурсиями на природу и предприятия и, наконец, введение бригадного метода оценки знаний учащихся (урок отвечал выделенный бригадой ученик, а оценка ставилась всей группе) и т.д. Так что расхожие в свое время упреки Павлу Васильеву типа: “недоучка”, “дикарь” пусть останутся на совести тех умников, которые нахватались верхушек “марксизма-ленинизма”, считали себяшибко образованными людьми.

Не только школа многое дала будущему поэту. Дома и в семье одноклассника Юрия, сына агронома Пшеницына, в почете были книги, прежде всего русских классиков. А еще были Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн, Джек Лондон.

В доме Васильевых частым гостем был фотограф Дмитрий Поликарпович Багаев, крупный, красивый человек. Фотография была для него не просто ремеслом. Он часто бывал с фотоаппаратом на пристани, в окрестностях города, в казахских аулах, в Экибастузе. На Всероссийском конкурсе 1912 года его работы были удостоены “Гран-

при". Западно-Сибирское отделение Русского географического общества избрало его своим членом-корреспондентом. Выполняя задания общества, он увлекся краеведением и этнографией. Материалы, накапливавшиеся в ходе неустанных поисков, Багаев систематизировал по разделам, приводил в хронологический порядок. О своих находках он увлеченно рассказывал, бывая у Васильевых, и одним из самых заинтересованных слушателей был кудрявый подросток, буквально впитывавший рассказы павлодарского Пимена.

От Багаева немало был наслышан Павел о купце миллионере Артемии Ивановиче Дерове, который ворочал огромными капиталами, был пионером промышленного освоения Экибастузского угольного бассейна, владел в Павлодаре особняками, магазинами, широко благотворительствовал. Багаев говорил о нем уважительно, но в памяти Павла он остался как символ прошлого, в котором всему "голова" был денежный мешок. Одного из отрицательных героев поэмы "Соляной бунт" поэт наречет этой фамилией, изменив только имя Артемий на Арсений. Заметим попутно, что никакого отношения к событиям, описываемым в поэме, подлинный Деров не имел.

Знал Багаев и другого знаменитого павлодарца - Антона Сорокина. Он жил в Омске, имел некоторую известность как писатель и громкую скандальную славу как мистификатор, чудак, мифотворец. Объявил себя королем сибирских писателей, выдвинул свою кандидатуру на Нобелевскую премию и разослал письма к главам всех

государств мира с просьбой поддержать его и т.д.

Павел Васильев вспоминает лично познакомился с этим необыкновенным человеком. Багаеву мы обязаны и дошедшим до нашего времени фотографиями Васильевых. На одной из них запечатлен Николай Корнилович - красивый бравый мужчина. Открытый лоб, прекрасная шевелюра, веселость и уверенность во взгляде, в меру пышные усы, темный костюм-тройка, белый галстук - все вместе создает образ интеллигента той старой формации, которую мы утратили в пору, когда, "кто был ничем, стал всем".

Под стать ему и Глафира Матвеевна. Нежный овал лица, высокая прическа, платье с глухим воротом, белая кружевная перелина на плечах. Еще ни единая морщинка не избороздила лицо, во взгляде открытость и вместе с тем затаенная мечтательность.

Запечатлен Д. Багаевым и четырехлетний Паша, кудрявый ухоженный мальчик в пестрых гамашах, в черной бархатной курточке с белым кружевом по плечам.

Д.П. Багаев скончался в 1958 году. Он оставил уникальную фотолетопись жизни своего края за пятьдесят лет, насчитывающую тысячи фотографий. Негативы их находятся на государственном хранении. В 1942 году было принято решение создать в Павлодаре областной историко-краеведческий музей. Возглавить его поручили Дмитрию Поликарповичу. Тысячи фотографий, собрания различных предметов старины и другие коллекции он безвозмездно передал музею. До пос-

ледних дней жизни он неутомимо работал над созданием в музее новых экспозиций, пополнением фондов, организацией работы на научной основе.

Вот каким человеком был этот нередкий в доме гость, и нетрудно представить себе, как много успел взять у него будущий поэт.

О том, какой богатой внутренней жизнью жил непоседливый озорной мальчишка, нередко вызывавший своими проделками неудержимый гнев отца, мы можем судить по одному уникальному документальному свидетельству. При аресте в 1937 году у Павла Васильева был изъят весь его личный архив - рукописи, переписка. Все эти бумаги бесследно исчезли, видимо, были уничтожены. Творческое наследие поэта васильеведам пришлось собирать буквально по крупицам в периодике 30-х годов, в архивах Москвы, Владивостока, Новосибирска, Омска. Несколько писем, автографов поэта сберегли близкие, соученики и друзья.

Уезжая в 1926 году из Павлодара, Павел передал поверенной своих детских и юношеских тайн Ираиде Пшеницыной, сестре своего школьного друга Юрия дневник, который он вел во время путешествия-экскурсии по Иртышу. Поездка от Павлодара до озера Зайсан и обратно была организована для школьников в 1923 году. На стоянках парохода они сходили на берег, знакомились с достопримечательностями Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Зайсана, делали вылазки в тайгу, в горы.

Чем больше всего бываю заняты подростки в таких обстоятельствах? Говоря современным языком, главным образом - "балдением". Наверняка не отставал от других в этом и Паша Васильев. Но властно требовали выхода и теснившие его душу порывы к самовыражению. Видно, не прошли даром и уроки Костенко. День за днем, тайком от других, заполняет он заветную тетрадь-дневник. Ираида Пшеницына десятилетия берегла ее. И теперь каждый может перелистать пожелтевшие страницы почти вековой давности. Несколько выдержек из дневника сами за себя скажут.

"21 июня. Отъезжаем. Берег постепенно начинает удаляться в противоположную сторону. Дедушка стоит на конторке и машет шляпой. Мне вдруг становится очень жалко и нашу уютную комнату, и зеленый садик с пахучими цветами, и кривые пыльные улицы Павлодара..."

Пароход делает кругой поворот и тяжело вздрогивает, прерывая мои размышления. Я поднимаю глаза, Павлодар уже почти слился с голубоватой далью, и только купола церкви поднимали горделиво свои маковки к небу. Товарищи или болтали, расхаживая по палубе, или сидели на скамейках, рассматривая берега. Я не преминул последовать примеру последних, между тем начинало темнеть. Серая мгла окутала все окружающее какоето мягкой, приятной пеленой, контуры деревьев становились все неяснее и неяснее, пока совсем не слились с ночью. Фантазия работала беспрестанно, создавая из чернильных облаков, усеявших небо, громадных великанов и сказочных чудовищ.

Я позабыл все и перенесся в мир фантазии, однако вечерний холодок давал себя чувствовать и мне пришлось зайти в каюту. Ночь провели без сна, ребята все время кидались подушками, дергали за волосы, стаскивали одеяло..."

Дальше и дальше вверх по Иртышу идет "Витязь". Во все глаза всматривается юный путешественник в окружающий мир, все примечает: высокие песчаные обрывы, усеянные гнездами стрижей, низменные берега, заросшие зеленою травой и невысоким, но пышным кустарником, поблескивающую под светом луны рябь на воде. Дети во все времена дети. То они рассказывают друг другу смешные и страшные сказки, то озоруют, не думая о последствиях. В одну из ночей сверстники дали Павлу нанюхаться серных спичек и табаку, доведя его до обморока.

В Семипалатинске многие пошли на базар, а Павел вел наблюдение за жизнью пристани. В дневник заносятся колоритные, точно выписанные сцены. "...Вон баба разбила несколько яиц и теперь, желая возместить свой убыток, ругает все законы республики; вон два поссорившихся мужика чуть не хватают друг друга за бороды. Женщины, мальчишки кричат, толкаются, восхваляя свой товар. "Яйцы! Хлеб! Ягоды, ягоды не надо ли?" - слышится поминутно. Покупатели торгаются, разглядывая товар, прокладывают себе дорогу среди толпы"...

Миновали Усть-Каменогорск, встретивший путешественников горячим резким ветром, поднимавшим на кривых его улицах тучи пыли и пес-

ка. Вдали засинели горы, пароход вошел в узкие, сжатые сопками верховья Иртыша.

“... Тихо... ни малейшего ветерка. Сопки как бы повисли над нами, так и кажется, что вот-вот они упадут. Сами скалы почти голы, вся их растительность состоит из маленьких кривых березок, которые, Бог знает, каким образом еще держатся на них, да бурого мха, широко разросшегося в трещинах и ямах, усеивающих их... Перед нами только узкая полоска воды, по которой не пройти и лодке, остальную часть реки занимает скала, но по мере приближения она отодвигается, а полоска воды превращается в довольно широкий, но крутой поворот”.

Иные картины природы, подмеченные юным автором дневника, сделали бы честь и ученому-натуралисту.

“...На отмелях, которые то и дело попадались нам на пути, сидели, дрались и кричали чайки. Тут же гуляли большие темно-бурые утки со своими выводками. При нашем приближении все это общество скрывалось куда попало. Утка проворно ныряла в камыши, ее питомцы, махая еще неокрепшими крыльышками, спешили туда же, а чайки быстро поднимались вверх, наполняя воздух своим пронзительным криком. Один раз какие-то громадные птицы, грузно махая своими широкими крыльями, опустились на отмель. Это были журавли. Самец, как только сел, надул зоб и начал проделывать такой танец, от которого его дама приходила в восхищение, но мы положительно умирали со смеху”.

И вот уже “зеленоватая ширь” Зайсана, пароход покачивается на “шумливых гребнистых валах” огромного озера. Остановка на пристани “Тополев мыс”. Павел наведывается к дяде, которого едва помнил.

В этом же дневнике наброски стихотворения “Исповедь”. Оно интересно как показатель зревшей в мальчике поэтической силы. Набросок дает определенное представление и об осмыслении автором социальных коллизий времени.

1923 год. Революция, гражданская война были не историей, а как бы еще данностью времени. Так недавно были эти великие потрясения, так многие были их непосредственными участниками на стороне красных или белых, так круто и бесповоротно они изменили жизнь, что люди все еще не могли окончательно расстаться с прошлым и определиться в настоящем. А официальная пропаганда была пронизана возвеличиванием революции, ее вождей, красных героев. Школа, разумеется, обязана была обеспечивать идеологическую обработку ребячих душ в том же плане. Нетрудно понять, какая сумятица была в сердцах и умах взрослых и как преломлялась она в восприятии детей.

Но обратимся к самому наброску. Это как бы чертеж будущего стихотворения.

“Алтай! На сопки дикие, покрытые густым березняком, на камни острые, седым ручьем разбитые, я свой рассказ (исповедь свою принес), первый стих принес.

Лишь здесь под синей вереницею седых косматых гор, лишь здесь, где кроме скал утесистых ничто не встретит взор, я пропою. А эхо перекатное подхватит, разнесет, ответит раз под тысячу и снова пропоет!

В глухом сибирском уголке родился я, не знала мать, когда качала в люльке напевая, что скоро песню напевать нужда мне будет злая. (Что это? Поэтическая фигура или гениальное предвосхищение своей судьбы? С.Ш.)

Тогда, я помню, лист желтел, на запад стаи птиц летели, лишь ветер злой все пел да пел, да нивы поздние рыжели... Дни вереницей словно тучи однообразно пролетали, чего-то ждали все, и что-то всех как будто ожидало. А ветер все дышал, дыханьем нивы колыхая, ну кто бы только угадал, что эта нива золотая, росой обмытая искристой, что эта нива кровью алой насытится, и струйкой серебристой ручей смеется с кровавою струей! Что скоро над землей усталой взовьется гордо красный стяг. Россия, время отмахнувши, с ним сделает свой первый шаг. И вот взлетел орел кровавый, затрепыхал крылатый флаг, и уничтоженный, разбитый уполз его тиран и враг!.. Три года бурные промчались, то был не сон. Я видел сам: штыки блестящие вонзались в родную грудь то здесь, то там. (В объятьях смерти люди бились). Зачем их слали умирать? Иль под шинелями сердца не те же бились? Иль не могли они ни мыслить, ни страдать? Но понимаю, уж армия красная шла идеи свои защищать.

Ну а солдаты-то царские, белые, ну а они-то за что умирать?!!!” Вопросительный знак и три восклицательных.

Художественная ценность отрывка весьма относительна. Да и черновой набросок же. Но какими вопросами задается тринадцатилетний автор, какие сомнения терзают его, как не вписывается все это в ура-барабанную советскую поэтическую риторику: “Смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это”, “в брюхе толстым штыком мироеда”, “Разгромили атаманов, разогнали воевод”, “Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили”...

Трагедийность гражданской войны позже будет глубже и художественно ярче осмыслена Павлом Васильевым в его стихах и поэмах. Но сердцем он ощутил ее уже тогда, в свои тринадцать мальчишеских лет.

Школьные годы остались позади. Шестнадцатилетний Павел Васильев безоглядно вылетает из родительского гнезда. Из книги в книгу упорно кочует вёrsия, что случилось это так. Якобы, после диспута на антирелигиозную тему, где попу удалось посрамить оппонента-атеиста, Павел на спор ночью вскарабкался на купол казачьей церкви и срубил позолоченный крест, за что был так жестоко выпорот отцом, что сбежал из дома, и семья только от случайных очевидцев, видевших, как Павел садился на пароход, отплывавший в Омск, узнала, что Павел по крайней мере, жив. Если бы такое случилось, порки он, конечно, заслуживал. На самом же деле все было несколько

иначе. Он действительно набедокурил - сломал полый металлический крест то ли на церковной ограде, то ли над выходом в нижний полуэтаж. И трепка от отца ему была. Но не привыкать стать было Павлу.

Кто в юности не бредит дальними странами, приключениями, кого не манит жизнь испытать себя на неведомых дорогах? У натур творческих эти порывы лишь сильнее, чем у других. В пятнадцать лет ушел из Павлодара “искать свою Индию” лобастый паренек, ставший впоследствии известным советским писателем Всеволодом Ивановым.

Павел, как мы уже знаем, был порывист, дерзок, предчувствовал свое великое предназначение, ему ли было усидеть дома? Позже он сам скажет об этом:

Нас мучило, нас любопытство жгло.
Мы начинали бредить ставкой крупной,
Мы в каждую заглядывали щель.
А мир глядел в оконное стекло,
Насмешливый, огромный, недоступный,
И звал бежать за тридевять земель.

Да, не в Омск, не в Новосибирск, не еще куда поближе, а именно - за тридевять земель. Не было в стране земли дальше Дальнего Востока, туда, к океану, и устремился Павел. Уехал он с согласия родителей, окрыленный верой в себя.

“Весны возвращаются” - есть такой образ у Павла Васильева. Они возвращаются, повторяясь

в извечном своем предназначении, но всякий раз в новом цветении.

70 лет спустя девятнадцатилетний павлодарец Сергей Чебаторев “заболел” немыслимо дерзким замыслом - на надувном спасательном плоту пересечь Тихий океан. Он хотел доказать, что человек, вооруженный минимумом знаний и навыков, может выстоять в самых экстремальных условиях. В Новый Свет он хотел доставить и символический груз - медали, изготовленные из корпуса снятой с вооружения ракеты СС-20. Шла перестройка, люди поверили в возможность жить всем народам планеты в мире и согласии. Юноше хотелось внести свой вклад в разрядку международной напряженности. От берегов Камчатки в одиночку на надувном плоту он ушел в океан. Океан поглотил смельчака, как Икара, дерзнувшего слишком приблизиться к солнцу.

Что гнало из глубины материка этих юношей именно к океану? Может быть, степь и океан роднит их необъятная ширь, и космосы этих двух, столь несхожих стихий тяготеют друг к другу во вселенском раскладе сил?.. Но как бы то ни было, проехав поездом несколько суток, Павел сошел на перрон Владивостокского вокзала. Дальше поезд не шел. Это был край света. Он вышел из вокзала и ахнул: перед ним раскинулась сверкающая на солнце бухта “Золотой рог”, на рейде стояли морские суда и яхты.

СИБИРИАДА

Ему всего-то семнадцатый идет. Он еще не определился. То задумывает поступить на японское отделение в университет, то в матросы податься настроился. Но распиравшая его творческая энергия вскоре выводит из этих метаний.

Поразительно, как быстро этот провинциал и вчерашний школьник оказывается вхожим в редакции газет, в круг местных литераторов. Заметной фигурой во владивостокском литературном мире был Рюрик Ивнев - поэт и прозаик, близко знавший Сергея Есенина. Опытный литератор, он сразу почувствовал незаурядность юного таланта. Свидетельство тому его акrostих, датированный 1926 годом.

Пустым похвалам ты не верь,
Ах, труден, труден путь поэта!
В окно открытое и дверь
Льет воздух, лекарь всех потерь,
Ушаты солнечного света.
В глаза веселые смотрю,
Ах, все течет на этом свете.
С таким же чувством я зарю
И блеск Есенина отметил.
Льняную голову храни,
Ее не давай ты даром,
Вот и тебя земные дни
Уже приветствуют пожаром.

В непростой форме акrostиха старший друг Павла сумел сказать многое. Он, не колеблясь, предрек юному дарованию есенинскую славу и провидчески предостерег. Ивнев вместе с другим столичным литератором Львом Повицким, тоже увидевшим в Павле Васильеве восходящую звезду, организовали первое его публичное выступление на литературном вечере в актовом зале университета.

Долго во Владивостоке он не задержался.

Сохранилось письмо Павла Ивневу из Хабаровска. Нельзя без улыбки читать его. Как намешаны в нем серьезность не по годам и детскость, деловитость и напускная ироничность. Письмо привожу с сохранением орфографии подлинника:

Милый Рюрик Александрович!

Приехали мы с Андрюшей в Хабаровск так скоро, что поцелуи - которыми вы нас благословили, отправляя в дальний путь - еще не успели растаять на губах.

А в душе они будут жить всегда.

Остановились мы здесь во 2-й коммун-гостинице - как и подобает восходящим звездам литературного мира.

Лев Осипович встретил нас так, что мы остались очень довольны. Дал письмо к этому... как его... к Кази;у. Хочет еще кое к кому написать.

Хабаровск после Владивостока - рай. Великолепная погода, снег и широкие улицы.

Я Вам написал стишок тут маленький токой в дороге - так вот и посылаю. Уж Вы извините, пожалуйста, что не обработан.

*Здесь тоже кое-что пишу. Так... о Киргизии
да о Сахолине.*

*Читали мы с Жуковым стихи на Хабаровском
Л.Х.О. - понравились. "Бухта" особенно. Наверно
удастся кое-что втиснуть.*

...Но пока до свидания.

*С дороги еще напишу. Ешишо. Здесь нас знакомят со многими и я пристроился к одной особе
(лет 23).*

*П. Васильев. 19 12/XII 26 г.
г. Хабаровск*

В Павлодар на имя Ираиды Пшеницыной, сестры его школьного друга, пришло письмо. Дата его не указана, но, судя по содержанию, написано оно несколько месяцев спустя после отъезда из Павлодара.

Читаешь это письмо шестнадцатилетнего юноши и, кажется, из дали времени слышишь его живой, еще ломающийся голос. В душе автора не стерлись воспоминания о доме, учителях, девочке, хранительнице его тайн. Ему хочется выглядеть старше, чем он есть, что и определяет общий тон письма, не лишенный напускной бравады, многозначительных намеков и умолчаний.

"Здравствуй, Ираида! Пишет тебе Павел Васильев. Сейчас я работаю рулевым на шхуне "Фатум", совершающий рейсы бухта Тафун-Хакодате (Япония). Загорел, окреп. Скитаюсь, скитаюсь, моя дорогая!.. Как видишь я и тебя не забываю. Я вспоминаю о тебе с большой нежно-

стью. Я бы, Ира, мог тебе рассказать очень много интересного о себе, о своем бродяжничестве - но боюсь, что сделать это в пределах одного письма невозможно. Тут спасовал бы и сам (блаженной памяти!) Лев Толстой.

В начале сентября я еду в Москву. По дороге заеду в Павлодар. Увидимся. Поговорим.

В этом году поеду “окончательно кончать” юридический факультет МГУ. Настроение бодрое. Да здравствует жизнь!

... Ира, передай привет всем моим старым друзьям, которых увидишь, ладно?

Если увидишь моего деда Ржанникова, передай и ему мой горячий привет. Расцелуй за меня своих: мамашу и папашу. Привет педагогам, Костенко в первую очередь.

До свидания, до свидания, до свидания. Павел.

P.S. Приеду, привезу тебе очень интересный подарок!”

В феврале 1927 года Павел уже в Новосибирске, в мае - в Омске, где выступает на литературных вечерах. Его печатают новосибирская “Советская Сибирь”, омский “Рабочий путь”, подборка его стихов выходит и в четвертом номере за 1927 год журнала “Сибирские огни”.

В августе 1927 года Павел уже в Москве. Поступает на рабфак искусств. Живет в общежитии на Гальяновке, перебивается случайными заработками то в качестве статиста на съемках фильма, то рабочим на фабрике пуговиц. Делает первый прорыв в центральную

прессу - “Комсомольская правда” публикует его стихотворение “Прииртышские станицы”. Но сходу “взять” Москву юному поэту не удалось.

В декабре 1927 года он возвращается в Омск. Среди его друзей Иван Шухов, Леонид Мартынов, Василий Квитко, Андрей Алдан (впоследствии Алдан-Семенов), Евгений Забелин.

Из Омска он часто наезжает в Новосибирск, “Сибчикаго”, как нередко называли тогда этот стремительно растущий город, претендовавший на звание новой столицы Сибири. Литературная жизнь там кипела. Непримиримо противоборствовали между собой две литературные группы.

Группу “Настоящее” возглавляли Курс и Родов. Курс одновременно заведовал журналом “Настоящее”. Это были воинственные проводники партийной линии в литературе. Художественное слово, по их убеждению, в прозе и поэзии играло второстепенную, вспомогательную роль, определяющим в оценке любого произведения они считали классовые позиции автора. Вторя Бухарину и Луначарскому, они клеймили Есенина и “есенинщину” в литературе.

Известный казахстанский литературовед и писатель Павел Косенко в повести о Павле Васильеве (“На земле золотой и яростной”) - одной из первых книг о вычеркнутом из истории литературы поэте, так характеризует одного из них:

“Семен Родов - бездарный литературный критик, представитель крайнего рапповского крыла тех “неистовых ревнителей”, кто до такой степени вульгаризировал понятие партийности ли-

тературы, что это смущило даже “вождей пролетарских писателей” вроде Авербаха и Лебединского. Экстремист Родов после закулисной борьбы был лишен каких-то рапповских чинов и направлен в Новосибирск учить классовому уму-разуму сибирских писателей...”

Противостояли “Настоящему” литераторы, группировавшиеся при редакции журнала “Сибирские огни”. Павел Васильев выбрал в друзья противников Курса и Родова. Возглавляли группу Зазубрин и Анов. На литературных вечерах и в журнале они отстаивали право художника на свободу самовыражения, Есенина называли гением русской поэзии, поддерживали молодые таланты. Как позже выяснилось, в то время была в Новосибирске и подпольная группа “Памир”, ставившая своей целью сопротивление партийному засилью в стране. Подробнее об этой группе будет рассказ впереди. Здесь отметим пока лишь тот факт, что Павла, учитывая его молодость, в группу решено было не привлекать.

Но он и без того “засветился”.

В списках пошло по рукам его стихотворение:

По указке петь не буду сроду,
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал про что писать.
Чудаки, заставить ли поэта,
Если он действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Сорок лет спустя недобро аукнулось цитирование этого стихотворения П. Косенко в уже упоминавшейся книге “На земле золотой и яростной”. Чье-то бдительное око усмотрело в нем такую страшную антипартийную ересь, что печатание стотысячного тиража было приостановлено. Набор хотели даже рассыпать, но потом ограничились изъятием из него крамольных строк и заменой их какой-то нейтральной вставкой.

Личная жизнь молодого поэта остается неустроенной, его то и дело начинает “заносить на поворотах”, особенно, когда у него завязалась тесная дружба с “легкомысленнейшим”, по определению самого Павла, поэтом Николаем Титовым.

Вот как вспомнил об этом много лет спустя Николай Анов. “Молодой поэт, почти мальчик, на собраниях сибирских писателей великолепно читал свои талантливые стихи. При первом знакомстве он произвел хорошее впечатление - был подкупающе вежлив и скромен. К сожалению, литературная богема мешала поэту заниматься творчеством. Мой друг Николай Васильевич Феоктистов, заведовавший в то время краевым отделением “Сиброста” и очень любивший Васильева и его близкого друга Николая Ильича Титова, первым забил тревогу: “Пропадают ребята! Надо что-то делать! Надо спасать талантливых поэтов!”

... В те годы по стране частенько кочевали из города в город “круглосветные путешественники”. Как правило, шли они пешком, заходили по пути в редакции, один из них заглянул и в

“Сиброста”. И тут родилась мысль: а почему бы Павлу Васильеву и Николаю Титову не последовать их примеру? Они молодые, здоровые, ноги у них крепкие. Посмотрят Сибирь, Камчатку, напишут хорошие стихи и очерки.

В альбоме Николая Анова сохранилось прощальное стихотворение, написанное Павлом экспромтом.

Ты предлагаешь нам странствовать
С запада багряного на синий восток.
Но не лягут дальние пространства,
Покорными у наших ног.

В стихотворении десять строф, заканчивается оно так:

И в июньское утро рано
Мы постучим у твоих дверей,
Закричим: “Николай Иванович Анов,
Принимай дорогих гостей!”

Под стихотворением дата: 29 августа 1928 года.

Молодые поэты получили аванс, но пешком не пошли, а сели на поезд, купив билеты до Иркутска. На дальнейший путь денег не хватило.

Сбылась детская мечта Павла “бежать за тридевять земель”. Целый год длилась его жизнь “под звездой скитальчества” по Сибири. С беззглядностью молодости берется он за любое подвернувшееся дело, работает старателем на золотых приисках, каюром в тундре, экспедитором на зейских приисках, культработником на Сучанских угольных копях, матросом на каботаж-

ном, потом на рыболовецком суднах. И вместе с тем успевает писать стихи, которые по мере его передвижения по Сибири публикуются в газетах Читы, Иркутска, Сретенска, Благовещенска, Верхнеудинска (Улан-Удэ), Хабаровска, Владивостока. Но стихи стихами. Более полное представление о “Сибириаде” Павла дает его проза.

Как вспоминает Сергей Поделков, близко знавший поэта в молодости, однажды Павел сказал ему: “До тридцати пишу стихи, потом перейду на прозу. Навсегда”. До тридцати ему не суждено было дожить. Но опыты в прозе он успел сделать. В 1930 и 1931 годах в ленинградском издательстве “Физкультура и туризм” одна за другой вышли его книги “В золотой разведке” и “Люди в тайге”.

“В золотой разведке” - по жанру путевой очерк на производственную тему, но с первых строк его чувствуется - автор не репортер, а художник. Чего стоит одна такая картина, которой открывается повествование: "...Свирепствовал 50-градусный мороз. Ослепительное багровое солнце медленно поджигало тайгу. Отшлифованный беспрерывными ветрами снег лоснился голубым цветом.

Якуты приехали на трех упряжках собак. Они хохотали и хлопали в ладоши, здороваясь с охотниками племени манегра, и хвалили их оленей. Олени вытягивали серебряные от инея морды и чутко вдыхали воздух, пропитанный ароматом сваленного в пригонах сена.

Из широких розвальней, загруженных ворохами соломы, одна за другой вываливались в суг-

робы неуклюжие медвежьи фигуры улановских старожилов. Запрокинув седые от мороза лохматые бороды, они грузно прыгали по снегу, взрывая его огромными унтами.

...Приисковый сторож пришипил к двери клуба белый клочок бумаги. Все собрались вокруг него. Смотрели вдумчиво и пристально.

- Ребята, кто читабить-то могит?

Оказалось, что грамотных нет. Бумажка осталась непрочитанной”.

Собрание на прииске Майском, как значилось в той бумаге, было посвящено перевыборам месткома и оргвопросам по золоторазведке.

Выступает управляющий приисками Федор Цетлин:

“Товарищи, русский пролетариат совершил победоносную революцию... Нам нужны новые заводы, машины. Для того, чтобы их купить и наладить, необходимо иметь золото... Товарищи, не будем закрывать глаза: наши прииски до сих пор были пьяными приисками...”

Великолепен ответ на эту речь бывшего предприискома.

“Братишки, дело обстояло вот как. Приезжам мы сюды - ничего нет. Ну, давай мы налаживать. И наладили. А что пили, правда, не утаю - точно пили. И пить будем. Потому в такой глупши, как наша, не пить нельзя. Я вот слышал, што новый заведующий наш, товарищ, значит Цетлин, против нас, значит, выступать хочет. Дескать, не пейте. Ничего! Поживет, образумится. Поймет. Вместе потом по стаканчику хлобыстнем. А затем все...”

Разведывательная партия во главе с техником Козловым на нартах, запряженных оленями, отправляется в разведочную экспедицию. В пути “на слипшейся от мороза бумаге, едва сжимая костенеющими пальцами карандаш”, Павел ведет дневник. А на бумагу просилось многое. Рассказы старателей о легендарном золотоискателе Бархатове: “Мужик кулаком быка валил. Три пудика на плечи - и айда от Бома к Благовещенску. А это, прикидывай, верст шестьсот, а то и больше. Верно говорю?..”

О жизненной философии отчаянных ловцов удачи: “Главное нужно уметь взять жизнь за ребра. Она тебя на испуг берет, а ты ее. Ну - кто сильней... Пробираешься с винтовкой да лотком по тайге. Руки о кустарь - в кровь. Утром голод подтягивает... Но зато вдруг у ручья на дне блеснет желанное. Золото, братищечки, золото...”

О нравах старательских артелей, когда “золото и спирт шли “стакан на стакан”, законы были железные, выкованные тайгой. Так, например, вора бросали в отработанный шурф и забывали о его существовании. Каждый день, когда золотоискатели шли на обед, виновный должен был громко признавать свою вину и просить товарищей о пощаде. За убийство полагалась казнь батогами. Озверелое, грубое сортище хищников, изнемогая под тяжестью голода и работы, само сдерживало себя железной цепью дисциплины.

Зорко всматривался Павел в пейзажи. ...”Тайга долго тянулась темной отвесной стеной и потом внезапно оборвалась у крутых берегов зако-

ванной в льды Селемджи. Все необозримое пространство обрушилось на нас бледно-голубым куполом неба, заполненным тишиной. Только иногда громко, как пистолетные выстрелы, лопались льдины. Нарты накренились набок от быстрого хода, и пассажиры все время хватались за поручни.

Вожак соскочил и побежал рядом с оленым поездом. Он поровнялся с нами. Его возбужденное лицо плясало в воздухе ярким, почти красным пятном.

- Хотите, зажварю как следует?.. Если в удовольствие...

- Вали!

Берега Селемджи будто подпрыгнули и пустились галопом обратно. Снег шипел под полозьями нарт. Небо летело навстречу невообразимой пустотой и пушистыми хлопьями облаков. Воздух рвался обезумевшим стальным холодом, забивал в глаза и нестерпимо палил лица. Панорама плыла кругом и менялась, как в кинематографе. С каждой минутой увеличивалась быстрая. Тела, укутанные в овчинные тулупы и саджевые дохи, нервно и боязливо вздрагивали от холода.

- Довольно! - не выдержал техник, но в свисте проносившегося мимо воздуха его голос прозвучал слабо, не достигнув вожаков.

Только спустя полчаса гонка затихла, и мы снова пошли ровным, размеренным бегом.

Причудливыми изгибами - "узлами" - шла Селемджа. Типичная таежная речка! Одинокие

сосны, мелкий березняк и гальки бесчисленных кос, обнаженные злыми, неукротимыми ветрами.

Вдалеке маячили синие контуры предгорья Яблонева хребта..."

Олений поезд сменяется собачьим. Дни и ночи в снежной пыли, в морозе, ночевки в ярангах. Павел приглядывается к своеобразному быту якутов. Он подмечает напевность и поэтичность их речи: "Залопался, запел вокруг якутский язык". А вот как передал он рассказ Большого Охотника: "...Первый снег упал у Яблоневого. И такой глубокий снег, что целовать его хочется. Самый хороший снег для следу. Капкан шел осматривать Большой Охотник. Не попался ли соболь серебростинный или драгоценная куница. Капкан шел осматривать. Только видит след. Тонконогий изюбр прошел. Рыхлый след, недавний. Два патрона в бердане - на изюбра хватит... По следу вперед, вперед. Мелькнула узкая таежная просека, да вдруг покачнулась, заметалась из стороны в сторону. Густым пятном на снегу изюбр, два тигра над ним седые усы склонили. А третий по поляне - прыжками, прыжками. Играет. От того, должно быть, и металась поляна.

...Два патрона в запасе, - что делать? А тигр сощурил зеленые свои глаза. И каждый глаз луну всходит. Э-э!

Большой Охотник приклад к плечу - раз! Животом припал к снегу тигр, тыкается вперед мордой. Настигла смерть. А другие отпрянули от добычи. И тот, что крупней и могучей, вдруг

взмахнул хвостом и весь полосатый, пестрый рванулся навстречу выстрелам. На лету сшиб его Большой Охотник. Только тайга от смелого выстрела вздрогнула и закачалась тяжело и опасно.

Упал зверь на снег, взрыл его глубоко и пошел предсмертными, слепыми прыжками оканчивать путь свой. Отскочил Охотник, а зверь широко взмахнул лапой. Стояла рядом белокожая высокая береза. Пополам березу перервал зверь.

А третий тигр - матка седохребетная - в сторону да в сторону, в сопки ушла..."

Что здесь от подлинного рассказа таежного мудреца, что домысел автора, трудно сказать. Но в любом случае надо было уметь услышать и понять.

Герои второй книжки прозы "Люди в тайге" - тоже золотоискали. Что ни человек - биография (которую иным надо скрывать), личность, характер.

Приисковый врач Рыбников описан так: "...В глазах его, небольших и рыжеватых, было что-то особенное - они поблескивали, как две бусинки, как два ослоняяленных леденца, и только после я понял, что рыбниковские глаза прополосканы голубым спиртом"... А вот как сказано о бывшем купце Сафонове: "Я вглядываюсь в его лицо. Он схож с гравюрными портретами времен Нидерландов. У него высокий ясный лоб, немного выпуклые синие глаза и холеный каштановый поток бороды". Вот они, плоды батуринских уроков в павлодарской школе-девятилетке!

Нет нужды пересказывать содержание этого очерка, как и других прозаических произведений раннего Павла Васильева. Если кратко резюмировать впечатление от этих его проб пера, оно состоит в том, что прозаик из него обещал выйти первоклассный. Сам Васильев не слишком высоко ценил свою прозу. На обложке хранящегося в Доме-музее экземпляра “В золотой разведке” его рукой написано: “Первая ласточка халтуры”. Но самоирония в иных случаях сродни и самоутверждению. Объективно же оценивая очерки Васильева, можно поставить их в один ряд с лучшими в общем потоке очерковой литературы тридцатых годов. В стране, поднимавшей Магнитки и Турксибы, на литературу этого рода был спрос. Следовательно, Васильев шел в ногу со своим временем.

В начале 1929 года в Павлодар на имя той же Ираиды Пшеницыной пришло письмо из Хабаровска. Оно представляет особый интерес в качестве автопортрета Павла.

“Здравствуй, Ира! Ты, конечно, уж никаким образом не угадаешь, кто тебе пишет. А пишет Павел Васильев. Помнишь?..

Мне почему-то страшно захотелось написать тебе - именно тебе и никому больше. Не буду вдаваться особенно в “психологию” - скажу только, что иногда у человека бывает потребность вспомнить о давно утерянном и дорогом...

Вот так и со мной случилось. Вдруг поплыли перед глазами картины прошлого - незабываемые, чудесные картины!.. Помнишь, как мы с Юркой

играли “в индейцев”? Как берегли несметные сокровища бабок, как дрались с ребятами из окрестных дворов? Сорванцы были - не правда ли?..

...Однако давно миновал апрель моей жизни. Все переменилось. Теперь я довольно известный сибирский поэт и корреспондент популярных газет и журналов. Я печатаюсь в журналах “Новый мир”, “Красная новь”, “Сибирские огни” и получаю дальние дорогооплачиваемые командировки.

Я побывал в Ташкенте, Самарканде, Москве, Батуми, Константинополе, Владивостоке... Вышел в Сибкрайиздате сборник моих художественных очерков, и выходит скоро сборник стихов. Критика возлагает на меня большие надежды.

Сейчас я пишу тебе из г. Хабаровска. Хочешь, я расскажу тебе, как я сюда попал?

В августе 1928 года я получил командировку от газеты “Советская Сибирь” на золотые прииски.

Я пересек сначала всю Западную Сибирь, обогнул озеро Байкал, задержался в Бурято-Монгольской республике, посетил знаменитую катаржансскую Шилку, разрезал затем пополам почти всю Восточную Сибирь и свернул на знаменитые Нижне-Селемджинские золотые прииски. Как я жил там, знает Юрий, которому я с приисков посыпал письмо в Томск. Я охотился, разыскивал золото и в конце концов отправился с экспедицией Союззолота на реку Нору, берущую начало у Яблонева Хребта. Во время этой экспедиции я заболел цингой и был принужден уехать в город. Сейчас пока я живу в Хабаровске, но скоро уеду во Владивос-

ток. Мне необходимы морские купания и “веселая жизнь” - т.е. жизнь, полная развлечений...

...Ира! Передо мной открылись очень широкие перспективы. Я полон творческой энергии и все же порой мне бывает неизмеримо грустно. Чего-то не хватает. Чего - сам не пойму. Я ищу успокоение в вине, в шумных вечеринках, в литературных скандалах, в непреодолимых трудных маршрутах, в приключениях, доступных немногим - и нигде не могу найти этого успокоения. Бывают минуты, когда мир пуст для меня, когда собственные достижения мои кажутся мне ничтожными и ненужными...

Где-то внутри меня растет жадная огромная неудовлетворенность.

Чего надо еще мне? Изъездить весь мир? Я делаю это. Вина? Оно есть у меня. Денег? Я не нуждаюсь в чересчурных деньгах, а необходимое у меня всегда есть. Славы? Я уверен, что приобрету ее...

Любви?... Может быть, этого не достает мне. Любви - этого всепожирающего огня, этой волны чувств человеческих я еще не испытал... Но порой во мне вспыхивает нежность, теплая восхитительно звучащая нежность. Вот сегодня вспыхнула она во мне и по отношению тебя. Только благодаря этому написано сие письмо (вообще-то, ведь я лентяй!). Знаешь, Ира, мне приятно вспоминать твой облик... Я дорожу этим воспоминанием..."

Всего-то два года прошло с тех пор, как тому же адресату пришло первое письмо. Второе на-

писано уже возмужавшим, повидавшим кое-что в жизни человеком, хотя по-прежнему не лишенным склонности немного порисоваться. Про Ташкент, Батуми, Константинополь вышло, видно, как-то само собой. Не бывал он там. И в “Новом мире” еще не печатался, и не такие уж дорогооплачиваемые командировки получал (аванса “Советской Сибири” хватило, как уже говорилось, всего-то на билет до Иркутска). И критики не столько жаловали, сколько язвили его. Но что правда, то правда: побродяжил он порядочно, в газетах печатался, нажил и добрую и скандальную известность. Для девятнадцати лет - немало. Правдой были и строки о клокотавшей в нем творческой энергии. Особый интерес представляет самооценка поэтом своей вулканической мятущейся натуры.

Скитальчество по Сибири закончилось прозаически: Павел заболел цингой. Вместе с неразлучным Титовым дружья на некоторое время заселяли в Хабаровске. Поселились в гостинице, отписывались в прозе и стихах о своих странствиях, подрабатывали еще инсценировками для театра. Видимо, у друзей завелись кое-какие деньги, которые они беззаботно спускали в попойках с участием случайных знакомых. Один из них в “Тихоокеанскую звезду” тиснул статейку “Куда ведет богема”, которую тут же перепечатал журнал “Настоящее”. Припомнили Павлу “какого-то Родова”, объявив его сыном богатого кулака. В год “великого перелома” такое обвинение ничего хорошего не сулило.

В годы бродяжничества по Сибири, как уже говорилось, молодой поэт пишет и публикует в газетах не только очерки, но и немало стихов. По своему содержанию они нередко представляют собою апологетику социалистического строительства в стране, которая спешит сменить “бусы из клыков на электрические бусы”, где “средь тайги сибирские Чикаго до облаков поднимут этажи”.

Но по когтям узнают льва. Уже в этих проходных стихах нет-нет блеснет золотым самородком васильевская образность:

Плынут и падают закаты
И плавят краски на зеленом льду,
Трясет рогами вспугнутый сохатый
И громко фыркает почуявшіи беду.

Но настоящая сочная реалистическая изобразительность, эмоциональная насыщенность образов проявляются в его стихах, когда он прямо обращается к памяти детства и отрочества, к описанию того своеобразного края, где течет Иртыш, пестрой кошмой расстилается необозримая степь.

Одно из стихотворений 1927 года так и называется: “Там, где течет Иртыш”.

Под солнцем хорошо видна
У берегов цветная галька.
Свой гребень подняла волна
Крылом нацелившейся чайки.
Шумят листвою тальники,
Но справиться с собой не в силе,
На неокрепшие пески
Густые космы распустили...

Ой звонок на ветру Иртыш!
На поворотах волны гибки.
В протоках медленных камыш
Зеленые качает зыбки...
Здесь в сорок лет не перебить
От корма ожиревшей птицы,
И от Алтая до Оби
Казачьи тянутся станицы.
По тем становищам реки
Не выжжены былые нравы,
Буянят часто казаки,
Не зная никакой управы.
Старинным праздником блинов,
Известной масленицей пряной,
Здесь перегон не одного
Роняет помертвевым с санок.
И на отцовских лошадях
Мальчишек озорные шайки
Съезжаются. И не шутя
Замахиваются нагайкой.
Не в меру здесь сердца стучат,
Не в меру здесь и любят люди,
Под тонкой кофтой у девчат
К четырнадцати набухают груди...

Здесь уже ничего заемного, книжного, все свое,
vasильевское. А как вычеканена вечность бытия
в следующей миниатюре:

Затерян след в степи солончаковой,
Но приглядись - на шее скакуна
В тугой и тонкой кладнице шевровой
Старинные защиты письмена.
Звенит печаль под острою подковой,
Резьба стремян узорна и темна...

Здесь над тобой в пыли многовековой
Поднимется курганская луна.
Просторен бег гнедого иноходца,
Прислушайся! Как мерно сердце бьется
Степной страны, раскинувшейся тут,
Как облака тяжелые плывут
Над пестрою юртою у колодца.
Кричит верблюд. И кони воду пьют.

Это написано в двадцать лет.

Иртыш, чайки, тальники, пески, казачьи станицы с их своеобразным укладом жизни, степь, кочевой быт, кони, верблюды, юрты - уже в этих двух стихотворениях обозначились ориентиры поэзии Васильева, с которой, по удачному определению С. Поделкова, в русскую литературу "пришла Азия, веселая и мужественная, звонкая и яркая, гостеприимная и жестокая".

“ХОТЬ ВОЛОС РУСЫЙ У МЕНЯ”

Стихи трудно соотносить с биографиями поэтов, они создаются чаще всего не как непосредственное отражение того или иного события, а в процессе непрерывно совершающегося творческого “брожения”. Сами поэты, формируя сборники, обычно располагают свои стихи не по принципу биографической последовательности, а согласно внутренней образной связи. Васильев привел в русскую поэзию небывалый до него “регион”, над которым “прочно висит казахстанское небо”. Иртыш и степь - вот две извечные равнозначные стихии его поэзии.

Дом, в котором проходило детство и отрочество Васильева стоял в двух-трехстах метрах от Иртыша, мальчишке вприпрыжку за минуту добрежать.

За порогом твоим река,
Льнут к окну твоему облака,-

напишет поэт, вспоминая детство. Иртыш был еще полноводным, с вольным, незарегулированным плотинами стоком. Реку не отгораживали от людей, как нынче, многоэтажные каменные громады, она была органичной составляющей окружающего мира, присутствовала в сознании во все времена года.

Играло детство с легкою волной,
Вперясь в нее пытливыми глазами...

От этих пытливых глаз ничто не ускользало.

Спокойна вода и вот
Молчаливая тень скользнет.
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней,-

напишет, повзрослев, поэт.

Песни, сказки, поверья, слышанные от деда Корнилы, бабушки, населяли реку водяными, русалками.

И в погребах песчаных, в глубине
С косой до пят, с румяными устами
У сундуков не запертых, на дне лежат
Красавки с щучьими хвостами...

Вновь и вновь возвращался поэт памятью к реке детства и юности. Образ могучей реки присутствует в его стихах и поэмах как воспоминание, как олицетворение вечной изменчивости жизни, ее радостей и печалей, как лирический герой.

Хорошо с поднятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша...

В каких только ипостасях не предстает Иртыш в его стихах.

Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет свет...
Ветreno и мертвой качкой
Нас Иртыш попотчевать готов.
Круглобедрые казачки
Промелькнули взмахами платков...
Теки Иртыш! Любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец остроскулый.
Оставив целым меду полковша,
Роскошествуя, лето потонуло...

Образ Иртыша нередко возникает и в любовной лирике поэта.

С лугов приречных
Льется ветр звения,
И в сердце вновь
Чувств песенная замять...
Ты смеешься, высоко закинув,
Руку с легким блещущим веслом...
Мы встретились. Я чалки не отdam.
Я сердца вновь вручу тебе удары...
Чтоб про других шепнула: “Не вини!”,
Чтоб губ от губ моих не отрывала,
Чтоб свадебные горькие огни
Ночь на баржах печально зажигала...
Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть любимая сейчас,
Вся в лучах упавшего заката
На обрыв песчаный забралась...

Он напрямую обращается к Иртышу, как другу: “теки”, “сверкни”, “журчи”, “разговаривай”. Образ Иртыша в его поэзии - это и воплощение Родины.

Река просторной Родины моей,
Просторная,
Иди под непогодой.
Теки, Иртыш, выплескивай язей,
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводный...

Едва не с колыбели вошла в сознание будущего поэта как данность мироздания и великая казахская степь. Степные просторы окружали его в Сындыктауе, Атбасаре, Павлодаре. Юношей и совсем молодым человеком бывал он в каркаралинских, семипалатинских, аральских, прикаспийских степях. Необыкновенная восприимчивость натуры, рано пробудившаяся потребность “в картину воплотить” впечатления бытия оставили в его душе неисчерпаемый запас образов.

Сам он так сказал об этом:

Родительница-степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро.
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

Степь в его стихах наполнена жизнью, движением, звуками, красками, запахами.

Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару...

Пал туман парным молоком.
На цыпочки
Степь приподнялась,
Нюхала закат каждым цветком,
Лучик один пропустить боясь...

Даже камни кажутся поэту одушевленными:

Расстелив солончаковую кошму,
Совершают намаз
Кривоплечие камни на наших дорогах.

А вот каким увидел поэт сенокосную пору.

Возы прошли по гребням пенным
Высоких трав, в тенях, в пыли.
Как будто вместе с первым сеном
Июнь в деревню привезли.

Казалось бы, суровы и долги зимы в казахстанском Прииртышье. Что можно увидеть в степи зимой, кроме стужи и белого безмолвия? Но и для этой поры поэт находит поразительно яркие образы.

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега...
В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть, -
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть.
Плечистую надену шубу
И вспомяну любовь свою,
И чарку поцелуем в губы
С размаху насмерть загублю...

Сочными мазками рисует Васильев степной быт.

На домбре спокойно лежит рука,
Костра задыхается пламя.
Над тихой юртой плывут облака
Белыми лебедями.
По чашкам урча, бушует кумыс
Степною травою пьян...
До пены хоочут котлы...

Знает поэт и беды кочевого быта, среди которых одной из самых страшных был джут.

...Кочевала беда, беда
Из аула в другой аул:
- Джут шершавою коркой льда
Серединную степь затянул...
Это старый и хитрый джут,
Он по пальцам считает дни.
Хооча, сумасшедший джут
Зажигает волчью огни.
У копыт поземки бегут,
За спину хоочет джут...

Особое место в степи принадлежало коню... Бесчисленные табуны коней были неотъемлемой частью кочевого быта казахов. Джигитовка, байга, кокпар - излюбленные зрелища народа. Иртышское казачество тоже знало толк в конях. Конь - заветный герой казахских и казачьих песен. Кони у Васильева не просто "лошади", они, если можно так сказать, портретны. Ноздри у жеребцов кажутся ему розами, он готов целовать их, вплетать в нежные их гривы ладони.

Важными событиями в степи были ярмарки. Вот что писала о Куяндинской ярмарке в 1928 году газета “Прииртышская правда”.

“За последнюю пятидневку на ярмарке заметно большое оживление. Оборот по заготовкам достиг 467 тысяч рублей и по продаже промтоваров - 518 тыс. рублей, заготовлено скота 7490 голов, баранов 7340 голов, верблюжьей шерсти 12 центнеров. Китайские купцы еще находятся в пути, на днях должны прибыть на ярмарку. Из Ташкента пока прибыло 4 купца...”

Ярмарка - пестрое, многоголосое, многоязычное торжище. Мало было увидеть как степняк облюбовывает коня на базаре, надо было слиться с ним душой, проникнуться его психологией, чтобы написать такие строки:

Прошли табуны по сожженным степям,
Я в зубы смотрел приведенным коням.
Залетное счастье постигло меня, -
Я выбрал себе на базаре коня.
В дорогах моих на таком не пропасть -
Чиста вороная атласная масть.
Горячая pena на бедрах остыла,
Под тонкою кожей - тяжелые жилы.
Взглянул я в глаза, - высоки и остры
Навстречу рванулись степные костры.
Папаху о землю! Любуйся да стой!
Не грива, а коршун на шее крутой.

Не уступают в поэтичности хрестоматийной гоголевской “тройке-птице” и васильевская “Тройка”.

Вновь на снегах, от бурь покатых,
В колючих бусах из репья,
Ты на ногах своих лохматых
Переступаешь вдаль, храпя,
И кажешь морды в пенных розах, -
Кто смог, сбираясь в дальний путь,
К саням - на тесаных березах
Такую силу притянуть?
Но даже стрекот сбруй сорочий
Закован в обруч ледяной.
Ты медлишь, вдаль вперяя очи,
Дыша соломой и слюной
И коренник, как баня, дышит,
Щекою к поводам припав,
Он ухом водит, будто слышит,
Как рядом в горне бьют хозяев;
Стальными блещет каблуками
И белозубый скалит рот,
И харя с красными белками,
Цыганская, от злобы ржет.
В его глазах костры косые,
В нем зверя стать и зверя прыть,
К такому можно пол-России
Тачанкой гиблой прицепить!
И пристяжные! Отступая,
Одна стоит на месте вскачь,
Другая, рыжая и злая,
Вся в красный согнута калач.
...Ресниц декабрьское сиянье
И бабий запах пьяных кож
Ведро серебряного ржанья -
Подставишь к мордам - наберешь.
Но вот сундук в обивке медной
На сани ставят. Веселей!
И чьи-то руки в миг последний
С цепей спускают кобелей.

И коренник, вовсю кобенясь,
Под тенью длинного бича,
Выходит в поле, подбоченясь,
Приплясывая и хохоча.
Рванулись. И - деревня сбита,
Пристяжка мечет, а вожак,
Вонзая в быстроту копыта,
Полмира тащит на вожжах.

Не та нынче степь, что была. Не гуляют по ней тысячные косяки коней, курчавые отары овец. Исконная отрасль экономики - скотоводство - пришло в упадок. В годы целины степь распахали столь бездумно, что это обернулось страшной бедой - ветровой эрозией почв. Великими усилиями ее сумели остановить. И снова сами же люди привели сюда новое бедствие. Земледелие в ходе реформ последних лет по уровню технологии возделывания полей и обережения их плодородия откатилось на десятилетия назад. Сотни тысяч гектаров бывшей пашни заброшены, зарастают сорняками. Не тот стал и Иртыш. Обмелела великая река, обезрыбела, загажена промышленными стоками. Картины природы края, живущие в стихах поэта, все больше становятся нашей исторической памятью. Но, вместе с тем, они могут служить и идеалом, к которому следует стремиться, если мы все думаем жить на этой земле.

Павел Васильев не только никогда не противопоставлял себя степнякам, но признавал свое прямое родство с ними.

Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи.
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже...
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый,
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит,
Горячий ветер в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни...
И в час, когда падут туманы,
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный,
В мешках бушующий кумыс.

Эти стихи написаны восемнадцатилетним по-этом!

Знание языка, обычаяев, фольклора казахов позволили Васильеву создать цикл стихов от имени Мухана Башметова, выдав себя за переводчика. И это не просто стилизация, ему удалось сложное творческое перевоплощение в народного сказителя, акына.

Исключительный интерес в этом плане представляет стихотворение “Охота с беркутами” - яркая, экзотическая картина традиционной для казахов охоты.

Ветер скачет по степи, и пыль
Вылетает из-под копыт.
Ветер скачет по степи, и никому
За быстроногим не уследить.

Но как шибко он ни скакал бы,
Все равно ему ни за что
Степь до края не перескакать,-

импровизирует молодой охотник, разгоряченный скачкой, азартом предстоящей потехи. Но этих красок ему кажется мало, и он находит новые, чтобы выразить переполняющие его чувства:

Если он пройдет Павлодар,
И в полынях здесь не запутается,
Если он взволнует Балхаш,
И в рябой воде не утонет,
Если даже море Арал
Ему глаз камышом не выколет, -
Все равно завязнут его копыта
В седых песках Кзыл-Куум! Ое-й!..
Начинаем мы нашу охоту
Под рябым и широким небом,
Начинаем мы наш промысел
На степи никем не измерянной...

Скачут всадники, зорко оглядывая степь, держа наготове своих беркутов. И вот настает, наконец, возделенный миг:

Вон взметнулась наша добыча,
Длинная старая лисица,
Чернохребтная, огневая
И кривая на поворотах,
Вон, как огонь, она мчится быстро.
Не давайте огню потухнуть!
Горячите коней, охотники!
Окружайте ее охотники!
Выпускайте беркутов в небо!

Охотничий азарт достигает апогея:

Мы забыли, где Каркаралы,
Мы забыли, где наш аул,
Мы забыли, где Павлодар!
Не четыре конца у степи, а восемь,
И не восемь, а сорок восемь,
И не столько, во многое больше.
И летит молодой беркутенок
Малахаем брошенным с неба;
И проносится старый беркут,
Как кусок веселого дыма;
И проносимся все мы сразу -
Ветер, птицы, удача, всадники -
По курганам за рыжим пламенем...

Какая безыскусственность и сколько поэзии в этих строках, как верно переданы чувства природенного степняка, удалого охотника. Стихотворение по форме, по всему своему ритмическому и образному строю неотличимо от импровизаций народных певцов на уникальных устных поэтических турнирах казахов - айтыхах.

Наверное, именно это тонкое восприятие Васильевым казахской народной поэзии и привлекало внимание поэтов И. Мамбетова, А. Нилибаева, М. Алимбаева, Ж. Жакипбаева, переводивших его стихи на казахский язык.

Включив непосредственно традиционные мотивы казахской народной поэзии в свою эмоционально-образную систему, сохранив образно-стилистический колорит источника, Васильев и судьбой своей и поэзией объединил Центральную Азию с европейской Россией, стал поэтической предтечей евразийской идеи, вновь овладевающей нашими умами на пороге XXI века.

Но предоставим слово людям, чья компетентность в этом вопросе не вызывает сомнений.

Мухамеджан Каатаев, критик: “Можно смело утверждать, что казахская действительность занимает видное место в поэзии Павла Васильева. Так, скажем, нет почти ни одного казахского города, который не был бы им охвачен в лоне его поэзии. Здесь и “затаивший звонкость” Зайсан, и “ястребиный” Павлодар, и Кустанай, и Караганда, и Семипалатинск с Усть-Каменогорском, Алматы и Туркестан, Актюбинск и Атбасар... Нет почти ни одной крупной реки или озера, ни одной знаменательной местности в республике, которые не стали бы объектами отражения в его творчестве. Здесь и “отливающий серебром” Иртыш, и “самое синее из морей” - Арал, и “тигриный” Балхаш, Куянды, Бухтарма, Ишим, Каркаралы, Кзылкум...

Уместное употребление многих казахских слов и имен, безусловно, придает густую и яркую национальную окраску всей поэзии П. Васильева, дышавшего воздухом родной степи и народной жизни Казахстана. Весьма символично, что в своих литературных мистификациях поэт избрал псевдонимом именно казахское имя Мухана Башметова...

Прикосновение к художественному наследию Павла Васильева, который рано ушел из жизни и был лишен возможности полного проявления своего огромного творческого потенциала, убеждает в исключительности его самобытного дарования, прочно связанного с отчей казахстанской землей”.

Бахытжан Канапьянов, поэт: “Настоящие стихи не имеют географической прописки. Их зву-

чание не замыкается в каком-нибудь районе, области, республике. Родившись однажды, они по принципу цепной реакции поэзии распространяются по стране и миру. Но их внутреннее содержание всегда заполнено энергией и той сутью, которые характерны для жизни и Родины поэта.

С появлением Павла Васильева, я бы сказал, впервые в оригинале, минуя переводческие издережки, в русскую советскую поэзию вторглись образы казахской степи. И вместе с ними сама Азия.

С каким изяществом и бережным отношением к традициям казахского фольклора создана Павлом Васильевым “Песня о Серке”. Павел Васильев первый среди русских советских поэтов обратился к поэтическому фольклору казахов - циклы “Песни киргиз-казахов”, “Стихи Мухана Башметова”, кзылординские и павлодарские самокладки.

Географический путь жизни Павла Васильева протянулся от Владивостока до белокаменной Москвы. И этот путь не обогнул “родительницу-степь”, а, наоборот, пролег сквозь громадное пространство, вобрав в себя казахские просторы от Черного Иртыша до Урала. И этот путь богат поэтическими открытиями”.

Валентин Сорокин, поэт, литературовед: “Он не вошел, а ворвался в поэзию, как влетел на разгоряченном коне. Казалось, в нем соединилось два древних ветра - русский и азиатский, две доли - русская и азиатская, коснулись крылом друг друга два материка - Европа и Азия. Мятежность, буйство, тоска, переходящая в страдание, в скорбь, это - возвращение к звездным скифским далям, к думам вечным: кто я? что я?...”

КРАСНЫЕ МИРАЖИ

Москва молодого самоуверенного сибиряка, как и в первый приезд, встретила отнюдь не дружескими объятиями. В приеме в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей) ему отказали: и социальным рылом (происхождением) не вышел и тематика стихов слишком кондово-патриархальная. Зато сразу приметили и привели Васильева крестьянские поэты Николай Клюев и Сергей Клычков. В Москве к тому времени обосновались и многие из омских и новосибирских литераторов, объединившихся в "сибирскую колонию". Жили сибиряки в основном в пригородном дачном поселке Кунцево. Васильев тоже снял там вдвоем с товарищем комнату. На первых порах ему удалось устроиться в профсоюзную газету "Голос рыбака". Ради заработка он пишет стихи о соцсоревновании, ударных темпах уборки хлеба, о каспийских и аральских рыболовах - стихи, естественно, декларативные, не представляющие художественного интереса.

Одновременно центральные газеты и журналы "Красная новь", "Земля сибирская", "Пролетарский авангард", "Новый мир" охотно предоставляли свои страницы для собственно "vasильевских" стихов - ярких, образных, самобытных. О поэте заговорили.

Начался сложный и трудный процесс общения Васильева с разными литературными группировками, участия в бесшабашных, по определению Леонида Леонова, распрах и одновременно системной работы в поэзии.

В задачи настоящей книги не входит детальное рассмотрение сложного процесса развития советской литературы тридцатых годов. Коснемся лишь тех его сторон, которые в конечном счете предопределили судьбу Павла Васильева.

Идеолог партии Бухарин так сформулировал теорию перековки масс: “Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как не парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи”.

Провидению было угодно, чтобы автор этой замечательной мысли на себе испытал, что означало оказаться “материалом”.

Бухарина на волне перестройки чуть не святым мучеником провозгласили. А ведь именно он в своих “Злых заметках” в “Правде” “приговорил” поэзию Есенина, как “причудливую смесь из “кобелей”, “икон”, “сисястых баб”, “жарких свечей”, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии и т.д.”.

Ему вторил Луначарский, из которого тоже нередко лепят образ просвещенного гуманиста: “Новая жизнь, отбрасывающая все гнилое, отбросила и выдохшегося поэта... Нам нужен особый крестьянский писатель, идеологические уст-

ремления и программа которого были бы пролетарскими".

Какая уверенность в неограниченных возможностях формировать человеческий материал на потребу текущим задачам! Словно в распоряжении Анатолия Васильевича был инкубатор для разведения крестьянских писателей с пролетарскими устремлениями!

Иван Михайлович Гронский, крупный партийный работник, бывший в свое время редактором "Известий" и журнала "Новый мир", шурин Павла Васильева, пятнадцать лет отбыл в лагере как враг народа. Вернувшись в 1956 году в Москву, многое сделал для реабилитации имени Павла Васильева и всемерно содействовал изданию его произведений. Личность Гронского поначалу произвела на меня сильное положительное впечатление: жертва репрессий, стоически выдержал все допросы, не склонив головы, прошел гулаговский ад, чуть ли не крестный литературный отец Павла Васильева. Но и он, оказывается, нисколько не сомневался в своем праве вырабатывать "коммунистическое человечество из человеческого материала".

Считая идеологически вредным влияние на Павла Васильева крестьянского поэта Н. Клюева, он настойчиво убеждал своего подопечного порвать с последним, отмежеваться от него. Ну и пусть бы убеждал. Но дело убеждениями не ограничилось. Сам Гронский в своих мемуарах с подкупающей откровенностью рассказывает: "Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н.А. Клюева

из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: - Арестовать? - Нет, просто выслать из Москвы. После этого я информировал Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал".

Как просто все, какой любезный диалог с главным жандармом, ни тени сомнения в своем праве походя решать судьбы людей.

"Дальнейшей его судьбой я не интересовался", - эпически заключает свой рассказ Гронский. А зря не интересовался: дальнейшая судьба выдающегося русского поэта Клюева страшна: в 1934 году ссылка в Нарым, где поэт буквально нищенствует, в 1937 году арест и расстрел.

Реабилитация жертв сталинских репрессий 30-х годов началась в то время, когда всевластие коммунистической партии казалось непоколебимым.

Лейтмотивом обличений палачества органов поэтому было доказательство в каждом отдельном случае полной невиновности тех, кого допрашивали, пытали, расстреливали. Якобы все были за социализм, за партию, за Сталина, и лишь параноя вождя была причиной репрессий. Иначе реабилитировать миллионы жертв в то время было и невозможно. Ведь если кто из них что-нибудь умышлял против социализма, против вождя, он и заслуживает самого сурового наказания, ибо в Советском Союзе было-таки построено самое передовое в мире социалистическое общество. Есть все основания усомниться в правильности такого толкования сталинских репрессий.

Старинная пословица гласит: "Кто богу не грешен, царю не виноват." Социализм, партию,

Сталина ненавидели миллионы людей: оставшиеся в живых “бывшие”, их потомки, раскулаченные, сосланные, загнанные в колхозы крестьяне, верующие, лишенные возможности молиться своим богам, просто здравомыслящие люди, у которых вызывало аллергию комчванство чиновников, безудержное словословие вождя, лживость пропаганды.

Недовольство режимом было чуть ли не всенародным. Но слишком хорошо известна была беспощадность большевиков. Кронштадтский мятеж, тамбовское восстание, крестьянские волнения в Сибири и в Казахстане были подавлены с беспримерной жестокостью; крепких хозяев на селе - кулачество загнали в болота, в тундру, угольные шахты; в учреждениях шли беспрерывные “чистки”, разоблачения; за поднятые с колхозного поля десяток колосков, за горсть пшеницы с тока по закону от 7 августа 1932 года без юридических проволочек давали 10 лет тюрьмы.

Идеологическое обслуживание режима осуществляла новая интеллигенция, нахватавшаяся верхушек марксистско-ленинской казуистики, скоро подкованная в институте красной профессуры. Печатью, кино, нарождавшимся радиовещанием руководили твердокаменные большевики. Писателей, работников искусства и культуры объединили в Союзы, регламентировавшие методы отображения жизни в рамках социалистического реализма, т.е. прославления великих преобразований. Писателю, художнику, композитору, кинорежиссеру нельзя было рассчитывать на из-

дание своих произведений, постановку пьес, выставки, если они не соответствовали установкам партии и лично товарища Сталина.

Творческая интеллигенция задыхалась в этой атмосфере, кучковалась по приятельским связям, отводя душу в злых разговорах шепотом. Высунуться, открыто восстать было равносильно самоубийству. Насколько глубоко и точно оценивала мыслящая интеллигенция сталинщину свидетельствует дело М.Н. Рютина, десятилетиями погребенное в архивах НКВД и ставшее достоянием гласности лишь в годы перестройки.

Мартемьян Никитович Рютин, 1890 года рождения, выходец из крестьян, участник гражданской войны, газетный и партийный работник был одним из тех, кто пошел в революцию, на партийно-советскую работу не за чинами, не ради собственного благополучия, а во имя высоких идеалов. Перерождение партии, личную диктатуру Сталина он расценил как ползучую контрреволюцию и бесстрашно восстал. Приведем несколько выдержек из написанного им в 1932 году манифеста “Ко всем членам ВКП(б)”. “... Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его свитой заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Stalin за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно

большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола.

... На всю страну надет намордник; бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность попрана!.. Учение Маркса и Ленина Сталиным и его кликой бесстыдно извращается и фальсифицируется. Наука, литература, искусство низведены до уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства.

... Печать - могучее средство коммунистического воспитания и оружие ленинизма, в руках Сталина и его клики стала чудовищной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования... Ложью и клеветой, расстрелами и арестами... всеми способами и средствами они будут защищать свое господство в партии и в стране, ибо они смотрят на них как на свою вотчину..."

Точность и глубина анализа таковы, будто не шестьдесят лет назад, а сегодня, от "позднего ума", которым мы всегда так богаты, написаны эти разящие строки. Конечно, "Манифест" Рютина не дошел ни до кого, кроме тех, кто этот режим охранял. Рютин и его "подельники" были арестованы. Но был еще 1932-й год, их изолировали, но сразу не расстреляли. Несколько лет они провели в тюрьмах. Сам Рютин показал пример непоколебимой стойкости. В заявлении в Президиум ЦИК он написал:

“... Я, само собой разумеется, не страшусь смерти... Я заранее заявляю, что не буду просить даже о помиловании, ибо я не могу каяться и просить прощения или какого-либо смягчения наказания за то, чего не делал и в чем абсолютно неповинен”.

Разумеется, Сталин не забыл это имя. 9 января 1937 года по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством Ульриха М.Н. Рютин был расстрелян. Та же участь постигла и всех остальных, кто знал и не донес о рютинском “Обращении...”.

Естественно и среди литераторов возникали разрозненные группировки, объединения недовольных режимом. Одна из таких групп сформировалась вокруг Николая Анова, бывшего редактором журнала “Красная новь”. В нее вошли Сергей Марков, Леонид Мартынов, Лев Черноморцев, Евгений Забелин и Павел Васильев. “Сибирская бригада”, как называли они себя, была своего рода вторым изданием “Памира” с теми же целями противостояния партийному засилию в литературе, отстаивания права на свободу творчества. Ни о какой организованной заговорщицкой деятельности члены ее не помышляли, группа собиралась без конспиративных предосторожностей, упиваясь возможностью хотя бы отводить душу в откровенных разговорах в кругу единомышленников. Они еще не понимали, на какое чудище “обло, озорно, стозевно и лаяй” они замахивались.

В марте-апреле 1932 года все члены группы были арестованы. 1932 год. Еще не раскручен на

полные обороты маховик политических репрессий, еще не узаконено применение пыток к политзаключенным, но опыт органами наживается. Не располагая воспоминаниями членов “Сибирской бригады” о том, какими методами велось следствие по их делу, воспользуемся другим источником. Иванов-Разумник - один из последних народников был арестован в 1933 году. В книге “Тюремы и ссылки”, вышедшей в 1953 году в Нью-Йорке, он в подробностях описал процедуры продуманного унижения человеческого достоинства, применяемого в то время органами ГПУ.

“Человека обыскивают, приказывают раздеться догола...

- Встаньте! Откройте рот! Высуньте язык! (Черт побери, что же я мог туда спрятать?...)

- Раздвиньте руками задний проход! Повернитесь лицом! - Поднимите...”

... Эта процедура - “вплоть до многоточия”, как замечает автор, - повторяется многократно не столько по необходимости, сколько с целью морального подавления заключенного.

Камеры переполнены, питание скучное - четыреста граммов хлеба, утром и вечером кипяток, в обед селедочная похлебка. Выспавшиеся днем следователи допрашивают по ночам. В случае непризнания подследственным предъявленных обвинений - лишение прогулок, свиданий, передач, урезание пайка, помещение в одну камеру с уголовниками.

Надо полагать весь этот “джентльменский набор” гэпэушники применяли и к “сибирякам”.

С фотографий в следственных делах смотрят измученные, с потухшими взглядами, небритые, с всклокоченными волосами лица молодых людей - самому старшему из них Николаю Анову было тридцать, остальным по двадцать пять-двадцать семь лет, самому младшему Васильеву всего двадцать один год. Обвинение всем было предъявлено одно: "состоял в контрреволюционной группировке литераторов "Сибиряки", писал контрреволюционные произведения и декларировал их как среди группы, так и среди знакомых". Скажем сразу: обвинение не с потолка было взято. Видимо, органы имели достаточную информацию от осведомителей, а найденные у арестованных письма и стихи эту информацию, с неопровергимостью "вещьдоков" подтверждали. Документы изобличали "сибиряков" в немалом. Они всерьез обсуждали вопрос о возможности самостоятельного развития Сибири, расширения на ее просторах русского предпринимательства. Адмирал Колчак в их представлении был героической и трагической фигурой. Сергей Марков написал поэму "Адмирал Колчак". Стихи, возвеличивающие его смерть, были и у Евгения Забелина.

Душа не вынесла, в душе озноб и жар,
Налево марш - к могильному откосу.
Ты, говорят, опеплил папиросу,
Красногвардейцу отдал партсигар.
Дал одному солдату из семи,
Сказал: "Один средь провонявшей швали -
На память об убитом адмирале,
Послушай ты, размызганный, возьми..."

Уже одно это тянуло на серьезное политическое преступление. Но это были еще только цветы. «Сибиряки» замахивались на самого Иосифа Виссарионовича. Достаточно привести такую подробность. Анов, подчиняясь общему порядку, вывесил на стене в редакции «Шесть условий товарища Сталина», которого называл не иначе как «кавказским ишаком». Он предложил Павлу Васильеву спародировать их гекзаметром. До нас дошли лишь несколько строк этой пародии:

О, мудрая воспой Джугашвили, сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием
 к власти прорвался.

Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне,
 семинарист неразумный.

Все признали свою вину, все покаялись. Не будем обвинять их в малодушии. Они не были фанатиками политической идеи, не мнили себя борцами. По наивности они полагали себя вправе свободно высказываться в своем кругу. Не забудем, что это были литераторы, у которых особенно сильна потребность в самовыражении. Отрицать вину было бессмысленно: ГПУ все знало, документы изобличали, в мученики они не хотели, жизнь у них была впереди, и они чувствовали в себе силы многое совершить.

Им дали жестокий урок: не только в полулегальных группировках нельзя говорить и писать предосудительное о режиме, но и наедине с са-

мим собой в мыслях остерегаться всякого вольномыслия.

Они отделались сравнительно легким наказанием: Н. Анова, Е. Забелина, С. Маркова, Л. Мартынова сослали на три года на Север, Павла Васильева и Л. Черноморцева осудили условно.

Можно с достоверностью предположить, что они были напуганы, но вряд ли в одночасье идейно перековались: неприятие социалистической нови во многих ее проявлениях у них осталось, только демонстрировать его открыто они на всю жизнь зареклись. С. Марков, Л. Мартынов, Н. Анов в дальнейшем нашли каждый собственную нишу в советской литературе. Меньше всех - по молодости лет и врожденному бунтарству натуры извлек уроков из "дела" Васильев. Он еще не понял, что означало для его дальнейшей судьбы то, что он оказался "на крючке" у советской охранки.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Большие надежды связывал Васильев с первой своей поэмой “Песней о гибели казачьего войска”. Рукопись ее ходила по рукам. Многие расценивали ее как явление в литературе. Когда сам поэт читал отрывки из поэмы, Елена Усевич, критик, признававшая талант Васильева и заботившаяся о его идейной ориентации на социалистический лад, прослезилась и назвала Павла молодым Есениным.

Были у поэта и недоброжелатели и завистники. По Москве распространялся злобный пасквиль “Караковские буераки”. “Антонина-мокроглаз” как-то слушала молодого поэта, который нараспев читал свою поэму “Караковские буера-ки”. Когда поэт закончил, раздался пронзительный вскрик, и Антонина-мокроглаз упала в обморок. Присутствующим пришлось вылить на нее целый графин воды, после чего она очнулась и сказала:

- Ах, не будите меня, это молодой Есенин, - и снова упала в обморок и, не приходя в сознание, написала о молодом поэте такой хвалебный отзыв, что его тут же стали всюду печатать, и он прямо-таки раздулся от денег”.

Николай Анов взял на себя риск публикации поэмы в “Красной нови”, но тут его и других

“сибиряков” арестовали. В 1933 году дело вроде бы шло к благополучному завершению. Могущественный И. Гронский дал добро на публикацию поэмы в “Новом мире”. И снова - неудача. 7 марта 1933 года Васильев пишет Галине Анучиной: “... Не успел я приехать в Москву, как услышал о довольно неприятной для меня вещи. А именно: конфисковали номер “Нового мира” из-за моей поэмы, успело разойтись лишь 100 экземпляров журнала.

Само собой и книжка моя задержалась с выходом. Все это, вместе взятое, сделало меня чрезвычайно популярным в литературных кругах, но Боже меня упаси от такой популярности!.. “Песня” все же выходит отдельным изданием, но ограниченным тиражом в 500 экземпляров”. Но и таким тиражом книжка не вышла - набор приказано было рассыпать. Полностью “Песнь о гибели казачьего войска” увидела свет лишь четверть века спустя.

Она настолько многопланова и многоголоса, что пересказать ее сюжет невозможно. Вчитаемся в нее. В зчине поэмы - запевки, жанровые картинки.

Бегут девки по воду, с холоду румяные,
Коромысла на плечах - крылья деревянные...
Там живут по-нашему,
В горнях полы крашены,
В пять железных кренделей
Сундуки окованы,
На четырнадцать рублей,
Солнца наторговано!

Ходят в горнях песенки
Взд-вперед по лесенке,
В соболиных шапочках,
На гусиных лапочках...

В целом они ярко и образно воссоздают картину устоявшегося уклада жизни с его буднями и праздниками. И вдруг в эту мирную картину врывается тревожная нота:

На гнедых конях летаем, сокликаемся,
Под седой горой Алтая собираемся...

Куда собираются казаки? Воевать с Красной Армией. Все понятно, они верны присяге, им есть что отстаивать.

Чтоб вольница
Ярмы на шеи надела?
Штыки да траншеи -
Нашли чем путать!
Иртышской вольнице -
Скот и наделы,
Иртышской вольнице -
Степь и луга!..
Понаехали сюда
С Самары да Рязани -
Кверху лаптем борода,
Тоже партизане.
Небо шашками дразня,
Сотни вышли в поле.
Одолеет киргизня,
Только дай ей волю...

А с другой стороны своя песня:

Красная Армия!
Бои, бои -
В цоканье сабель, пуль и копыт
Песни поют командиры твои,
Ветер знамен над тобою шумит...
Слушайте конники,
Стук сердец.
Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукой посеем свинец...
Песня, как молодость, горяча,
Целится в небо зубы коней,
Саблею небо руби сплеча,
Чтобы заря потекла по ней!..

Поэт как истинный летописец не принимаетничью сторону, он лишь рассказывает, как было. Ему жаль и тех и других, которые полягут в этой братоубийственной междоусобице.

Торопи коней, путь далеч,
Видно вам, казаки полечь.
Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода.
На губах ее ягод сок,
В тонких жилах ее висок,
Сохранила ее рука,
Запах теплого молока...

Неотвратимо надвигается Красная Армия.

Голод и смерть, и сон укротив,
Через пожары, снега и тиф,
Через пески в золотой пыли
Люди, как призраки, пели и шли.
В ясные ночи, в синей пыли
Падали, пели и снова шли.

И неизбежное свершается:

Белоперый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена идут на Зайсан.
А буран их крутит и так и сяк,
Клыкастый отбитый волчий косяк.
Атаман, скажи-ка по чьей вине
Атаманша-сабля вся в седине?
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?
Атаман, отклиknись, по чьей вине
Коршуном горбатым сидишь на коне?
Белогрудый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут на Зайсан.
Впереди вороны в тринадцать стай,
Синие хребтины, желтый Китай.
Позади, как пики, торчат камыши.
Полк Степана Разина и латыши.
Настигают пули волчий косяк,
Что же ты нахмурился, молчишь, казак?
Поздно коня свертывать, поди, казак,
Рассвет как помешанный пляшет в глазах,
Обступает темень со всех сторон,
Что побитых воронов - черных знамен.

Заключительные строки поэмы, кажется, не оставляют сомнений в “советскости автора”:

Песня моя, не грусти, подожди.
Там, где копыта прошли, как дожди,
Там, где пожары прошли, как орда.
В свежей траве не отыщешь следа.
Что же нам делать? Мы прокляли тех,
Кто для опавших, что вишен, утех
Кости в полынях седых растерял,
В красные звезды, не целясь, стрелял,
Кроясь в осоку и выцветший ил,
Молодость нашу топтал и рубил...

Руки протянем над бурей-огнем.
Песню, как водку, из чашки допьем,
Чтобы та память сгорела дотла,
Чтобы республика наша цвела,
Чтобы свистел и гремел соловей
В радостных глотках ее сыновей!

Насколько органичны эти строки в общем контексте другой вопрос. Но без них нельзя было и помыслить о том, чтобы поэма дошла до читателя.

Итак, казачье войско разгромлено, Красная Армия победила, в поэме правильно расставлены политические акценты. Что же насторожило в ней идеологических надзирателей?

Они прочитали поэму по-своему. Во-первых, что за выбор темы: почему автор пишет не о колхозном строительстве, не о социалистическом соревновании, а о казаках - опоре царизма? Они полностью расказачены, в Советском Союзе словия такого нет и в помине. Во-вторых, почему поэма не о победе Красной Армии, а о гибели казачьего войска? Погибали красные герои, врагов революции уничтожали. И уж если все же поэт вспомнил о казаках, то уместно бы говорить о их конце, о разгроме, пропеть в честь этого оду, гимн, а не какую-то Песню...

О ком сожалеет автор в колыбельной, которую напевает старуха над зыбкою?

Ночь глухая, душная, ярая...
Укачала малого старая.
- Спи ты, мое дитятко,
Маленький - мал.

Далеко отец твой
В снегах застрял,
Далеко-далешеньки, вдалеке.
Кровь у твово батюшки на виске.
Спи ты, неразумное, засыпай,
Спи, дите казацкое, баю-бай.
Я ли твою зыбочку посторожу,
Я ли тебе сказочку расскажу.

И, наконец, все понятно советскому читателю, когда он слушает или поет:

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Коннармейские наши клинки.

А о ком васильевские строки:

Синь солончак и звездою разбит,
Ветер в пустую костяшку свистит,
Дыры глазниц проколола трава,
Белая кость, а была голова,
Саженная на саженных плечах.
Пали ресницы и кудерь заchaх,
Свяли ресницы и кудерь заchaх.
Кто ее нес на саженных плечах?
Он, поди, тоже цигарку крутил,
Он, поди, гоголем тоже ходил.
Может быть, часом, и тот человек
Не поступился бы ею вовек,
И, как другие, умела она
Сладко шуметь от любви и вина...

Долгое время нас приучали воспринимать историю только в красно-белых тонах. “Он землю покинул, ушел воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать”, - распевали мы популярную песенку. Мы заходились в восторженных криках, когда русская женщина Анка косила пулеметными очередями русских мужчин.

Много воды суждено было убежать в любимом Васильевым Иртыше и других реках России, прежде чем мы, наконец, избавились от вбитых в нас тотемов классовой непримиримости. Вчитываясь сегодня в “Песню” Васильева, мы не можем не поразиться глубине его понимания трагедийности гражданской войны. Ему было двадцать лет, когда он написал эту поэму.

Среди друзей Павла Васильева был ленинградский литератор Вячеслав Завалишин. Эмигрировав в свое время в Германию, а потом в США, Завалишин не утратил интереса к истории и литературе Родины. Однажды в Дом-музей П. Васильева пришло письмо из Америки. Автором его был Вячеслав Клавдиевич.

Между прочим, в этом письме он упомянул, что однажды взял у Павла Васильева взаймы три рубля, но обстоятельства сложились так, что долг не смог вернуть. В связи с этим он попросил журнал “Литературная учеба”, напечатавший его статью, выслать гонорар павлодарскому Дому-музею в счет погашения того старого долга. Прислал он и вырезку из русскоязычной газеты, издающейся в Америке, со своей статьей, посвященной “Песни о гибели казачьего войска”.

Цитирую из этой статьи:

“Сознательно или интуитивно Павел Васильев написал поэму о самоистреблении обоих станов. Таким самоистреблением братьев по крови и представляется ему гражданская война. Если бы такая поэма появилась несколько лет назад в Испании, еще при генерале Франко, то автор не заслужил бы ничего, кроме благодарности. В США, например, в одном и том же городе можно увидеть памятники и победителям и побежденным: и генералу Гранту, герою северян, и генералу Ли, герою южан. А диктатор Испании Франко согласился на то, чтобы обелиск героям гражданской войны в Испании увековечил и тех и других, т.е. сторонников Франко и его противников. В “Песне о гибели казачьего войска” поэт создал стихотворный обелиск обеим станам: и белому, и красному. На это не хватило и М. Цветаевой. Она видела героев только в белом стане”.

Выросшие в советское время, мы не понимали, какая трагедия постигла тогда страну. С октябрятских и пионерских лет мы знали, что белогвардейцы, купцы, фабриканты, священнослужители, кулаки - враги, подлежащие уничтожению. Когда на волне перестройки вдруг зазвучала ностальгическая песня о поручике Голицыне и корнете Оболенском, многими она воспринималась как кощунство над памятью о беззаветных красных героях.

Надо было случиться тому, что случилось, чтобы не только умом, но и сердцем понять глубину трагедии классового антагонизма, крушения общественных устоев.

Мы на себе почувствовали, что значит вдруг стать никем в собственной стране, терпеть надругательство над своими идеалами, видеть бесстыдное обогащение “новых”. Оказывается, это страшно и больно. Оказывается, не вдруг можно перековаться на новый лад, принять новую данность как приобщение к “цивилизованному миру”.

Васильеву идет двадцать третий год. Он уже отведал вкус баланды и жесткость нар тюрьмы, был со всех сторон бит как контрреволюционер, кулацкий поэт, кажется, впору или в петлю, или угомониться, окончательно стать на платформу социализма, перековаться в певца великих достижений. Перековываться он не хочет, жизнь в нем играет, талант в расцвете.

В рекордно короткий срок он пишет большую поэму “Соляной бунт”. Пересказывать поэму - дело неблагодарное, но все же несколько слов пока хотя бы о ее сюжете.

На соляных промыслах взбунтовались казахи, изнуренные каторжной работой и нищенской оплатой. “Володетель” промыслов Арсений Деров снаряжает в степь для расправы с бунтовщиками казачий отряд. Казаки учиняют в мирном ауле дикую резню. И вдруг происходит нечто невероятное. Молодой казак Григорий Босой отказывается от участия в расправе. Подскакавший к нему атаман хлестнул его плетью - Григорий сплеча рубанул его саблей. Казаки возвращаются домой с “победой” и с трупом атамана. Григория в острястку казацкой голытьбе казнят лютой смертью.

Кажется, придаться не к чему: казачество показано как реакционная сила, симпатии автора на стороне угнетенных. Однако не все и в ней устраивало ревнителей идеальной непорочности советской литературы, тем более, что автор поэмы тот самый Васильев. И.М. Гронский решил попутать Васильева, а заодно и застраховать себя от обвинений в покровительстве "кулацкому поэту". В редакции "Нового мира" под председательством Федора Гладкова ему была устроена показательная идеологическая головомойка. В обсуждении приняли участие Б. Пастернак, В. Инбер, С. Клычков, И. Гронский, К. Зелинский, Е. Усиевич и другие.

Интересная деталь: в стенографическом отчете, опубликованном в одном из номеров "Нового мира", выступления Б. Пастернака нет. Из ссылок на его выступление участников обсуждения, можно сделать вывод, что Пастернак пошел "не в ногу" со всеми. Так, Нусинов не соглашается с его утверждением "если писателю необходимо органически переделать себя, то горе нашей поэзии, нашей литературе" (!). Обсуждение как раз и имело главной целью своей - заставить Павла Васильева "органически переделать себя!"

"Да, - отметила в своем выступлении Елена Усиевич, - Васильев рубит канаты, которые прикрепляли его к "правому берегу", но тут же оговаривается, что "чуждая нам идеология прет из него непроизвольно... И не так-то легко ему самому осознать, что получается, когда он, как кажется ему, поет естественно, как птица".

Что же “выперло” из Васильева в “Соляном бунте”?

Поэма начинается красочным описанием свадьбы.

Желтыми крыльями машет крыльцо,
Желтым крылом
Собирает народ,
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба
Над головою
Трясет.
Легок бубенец,
Мала тягота, -
Любой бубенец -
Божья ягода.
На дуге растет,
На березовой,
Акрыта дуга
Краской розовой.
В Куюндах дуга
Облюбована,
Розой крупною
Размалевана.
Свадебный хмель
Тяжелей венцов,
День-от свадебный
Вдосталь пьян.
Кони! Нестоялые,
Буланые, чалые.
Для забавы жарки
Пегаши да карьки,
Проплясали целый день -
Хорошая масть игрень:
У черта подкована,

Цыганом ворована,
Бочкой не калечена,
Бабьим пальцем мечена,
Собакам не вынюхать
Тропота да иноходь!
А у невестоньки
Личико бе-е-ло,
Глазыньки те-емные...
- Видно, ждет...
- Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?
- Голос у невестоньки - чистый мед...
- Ты бы, Анастасьюшка, лучше спела?
- Сколько лет невесте?
- Шашнадцатый год.

Ф. Гладков усматривает в таких картинах сульное изображение великодержавной России, сытой деревни, лебединых подушек, грудастых баб и кованых сундуков.

Хозяйство у Яркова - полная чаша.
Над крышей крашеной
Из трубы валит,
Падает подбитым коршуном
Дым.
Двор до половины
Навесом крыт,
Двор окружен бурьяном седым.
Там, в загонах дальних,
В ребрах оград,
Путами стреноженные
Волосяными,
Лошади ходят,
Рыбой скользят,
Пегие, рыжие,
Вороные!

Сена наметано до небес,
Спят в ларях
Проливные дожди овса,
Метится в самое небо
Оглобель лес,
И гудят на бочках
Железные пояса.
Устлан травой
Коровий рай,
Окружены их загоны
Долгим ревом.
Молоко по вымям их
Бьет через край,
Ходят они по землям
Ковровым.
Солнце играет
В листьях кленовых,
Солнце похаживает
На дворе,
Бьет по хребтам
Тридцатипудовых
Рыжих волов, звенит на подковах
И на гусином
Крупном
Пере.

Нусинов утверждает, что “все это упоение “ржанным”, “избяным”, “бревенчатым” - скучно, запоздало и никого не трогает”. Но самое главное обвинение Васильеву: образы казаков у него выписаны ярко, смачно, а представители угнетенных казахов бледны, безлики.

Усиевич считает, что в основе этого реакционные традиции, усвоенные Васильевым, так как фундаментом его поэзии является “семиречен-

кое казачество, база колонизаторской политики русского царизма". Вот как все просто!

Препарируя поэму с позиции вульгарно-социологического литературоведения, участники обсуждения полностью игнорировали ее композиционную выстроенность, символику, подтекст.

Степь от соли бела.
Соль скрипит на зубах,
Соль на щеках
Румянцы зажгла.
Бела соль, страшна соль,
Прилипчива, как тоска...
Тощи груди у женщин.
Нет молока,
Ни пригоршни хлеба нет.
Дорога к весне
Далека, далека,
Узка словно волчий след.

Разве этот контраст с праздничностью свадьбы, сытостью казачьего уклада жизни ни о чем не говорит читателю? И так ли безлик аксакал, обратившийся к казачьему есаулу с такой исполненной смирения и отчаянной решимости речью:

- Начальник, ты мудр,
Золотоплеч.
Владеет нами
Племя твое.
Соль -
Отвратительнейшая вещь.
Мы отвращаемся от нее.
Качнулся аул: - йе, йе, йе!

- Начальник, мы готовы молчать,
Мы черны,
Как степные карагачи.
Ты бел, как соль,
Ты не молчи,
Не заставляй нас
Соль добывать,
Лучше конями нас растопчи.
Приятно и мудро слово твое.
- Йе, йе, йе!..
- Соль, страшнее всяких неволь,
Держит нас на цепи.
Мы не желаем
Черпать соль!
Оставь нас
В нашей степи!
Соль страшнее
Всяких неволь,
Мы завидуем
Вашим псам.
Если нужна тебе,
Мудрый, соль,
То черпай ее,
Начальник, сам...

Ключевая сцена поэмы - расправа казаков над мирным аулом. Немного найдется в мировой литературе страниц, с такой силой обличающих братобойство, под таким бы флагом его ни творили.

Увидали кочевники - нет путей:
Тыщи их,
Но нечем сразиться,
В ливне сабель,
Пик

И плетей
Казаки налегали
Лютей и лютей,
Дикошары, багроволицы,
Выпучив глаза
И губы скосив,
Ничего не видя
Перед собою.
Им запевала
Над пляской грав
Хриплая труба разбоя...
Откормленные, розовые,
Еще с щенячым
Рыльцем, казачата -
Я те дам! -
Рубили, от радости
Чуть не плача...
Рядом со знатью,
От злобы косые
Повисшие на
Саблях косых.
Рубили
Сирые и босые
Трижды сирых
И трижды босых.
Григорий Босой было
Над киргизской девкой
Взмахнул клинком, -
Прянула
Вороная кобыла,
Отнесла, одетая в мыло...
Видит Григорий Босой: босиком
Девка стоит,
Вопить забыла...
Лицо потемнело,
Глаза слепы,
Жалобный светлозубый оскал.

Остановился Григорий:
Где бы
Он еще такую видал?
Где он встречал
Этот глаз поталый?
Вспомнилось:
Сенокос,
Косарей частокол...
И рядом с киргизской девкой встала
Сестра его, подобравши подол...
Говаривала.
Стомился, Гришка?
Зазывала под стог
Отдохнуть, присесть
Эта!
Киргизская Настя!
Ишь ты,
Тоже, гляди, так и братья есть.
- Бе-ей!.. -
Корнила Ильич вразброс
Вымахал беркотом над лисой:
- Что замешкался, молокосос?
Руби,
Григорий Босой!
Шашка зазвенела вяло,
Зашаталась, как подстреленный на бегу.
Руки опустив,
Девка стояла...
- Атаман?!

- Руби!

- Не могу...

Да Корнила Ильич
Потемнел от крови.
Ощетинился всей своей сединой,
У переносицы
Встретились брови,
Как две собаки перед грызней.

- Руби, казак!
- Атаман, нельзя...
- В селезня,
В родителей,
В гроб!
Голытьба! Киргизам
Попал в друзья!... -
И раскроил, глазами грозя,
Григорию плетью лоб
(Сабля!)
Был атаман -
И не был.
Безнадельный,
Хромой,
Смел посметь...
И упал атаман,
И в ясное небо
Перерезанной глоткой
Стал смотреть.

Не поднимается рука, чтобы как-то комментировать эту шекспировской силы сцену. Разве что задаться вопросом, почему в наше время, когда братоубийственные войны с чьей-то легкой руки стали называться “горячими точками”, что-то не слышно голосов поэтов, возвысившихся до такого понимания их античеловеческой сущности; громче звучат голоса, возбуждающие межнациональную вражду. Или теперь, когда научились убивать не саблями, а бомбами и ракетами, умирать уже никому не больно?

А на собрании в “Новом мире” все поучали Васильева. Е. Усиевич говорила: “Для того, чтобы Васильев мог сам перестроиться, для того, что-

бы его творчество не давало права наиболее реакционным элементам в нашей литературе уповать, что он поднимет их поникшее знамя, для этого прежде всего Васильев должен понять, что наша критика, наша общественность считают его чужаком, он должен осознать, чью идеологию выражает”.

И. Гронский поучал: “Возьмите творчество Клюева, Клычкова, Павла Васильева. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служит? Оно служило силам контрреволюции... Можно ли переделать этих “крестьянских” поэтов? Старики, мне думается, трудно будет переделать. Но к молодым поэтам мы должны подходить с некоторой другой меркой. Товарищ Васильев вырос во время революции, казалось бы, он имеет все возможности для того, чтобы развернуться в достаточно крупного художника революции. Однако мы этого не видим. В чем дело? Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы с ним не работали, а кое-кто другой с ним работал. И предоставленный этим людям, Васильев развивался не в сторону революции, а в сторону контрреволюции. Сейчас, поскольку мы все это вскрыли и вскрыли до дна, нужно взяться и поработать над Васильевым, еще молодым поэтом, и перетянуть его в лагерь революции. Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришел на некую грань: или он совершил прыжок в сторону революции или он погибнет, как художник”.

И своей цели устроители проработки достигли: Павел Васильев вынужден был отмежеваться от Клюева и Клычкова, заверить, что впредь будет работать на революцию.

“Соляной бунт” был опубликован в “Новом мире” и даже вышел отдельной книжкой . Критик Н. Степанов в рецензии на “Соляной бунт” (“Литературный современник”, 1934, № 5) вынес такой приговор:”... любование казачеством делает поэму во многом идеологически враждебной для нас, выпадающей из основной направленности советской литературы”.

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Павел Васильев рано созрел, жил жадно, взахлеб, словно предчувствуя, какой малой мерой отмеряно ему быть в этом “золотом и яростном” мире. Внешность, темперамент, поэтический дар, артистизм привлекали к нему женщин, и сам он любил царить среди них, покорять, “тотуть” в их глазах. Один из его современников вспоминал: если вы оказывались на литературном вечере вместе с Павлом Васильевым, после его выступления половину аудитории - ее женскую часть - вы безвозвратно теряли.

Если рассматривать его любовную лирику как поэтический дневник, она в немалой своей части автобиографична и адресна. В семнадцать лет он пишет стихотворение “Палисад”. Был, наверняка, прототип у каеглазой соседки, с которой скончалась ночь юный поэт.

Быстро ночи катятся в июне,
Затерялися в листве слова.
Над песками опустелых улиц
Расползаясь тает синева.
Близость тонких загорелых пальцев,
Теплота порозовевших щек.
... На траву отброшенным остался
Позабытый ситцевый платок.

В пору своего бродяжничества по Сибири влюбился Павел в Анастасию, сестру своего друга Николая Титова. Эта сибирская Венера была очень далека от литературы и на своего брата и его друга смотрела как на пропащих людей, пишущих какие-то стихи. Увлечение Павла ответа не получило. Видно не раз приходила Анастасия в мечты и сны поэта, если несколько лет спустя он посвятил ей три стихотворения, в которых и воспел ее, и отомстил ей.

С темными спокойными бровями,
Ты стройна, улыбчива, бела...
В девку переряженное лихо...
И напрасно, обратясь к тебе, я
Все отдать, все вымолить готов, -
Смотришь, лоб нахмуря и робея
И моих не понимая слов.
И бежит в глазах твоих Россия,
Прадедов беспутная страна.
Настя, Настенька, Анастасия,
Почему душа твоя темна?..
Но молчишь ты...
Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!..

В 1928 году в его жизнь вошла Галина Анучина. Коротка и трагична история этой любви.

Синеглазая семнадцатилетняя девушка, чуткая к поэзии, бывая на литературных вечерах, сначала влюбилась в слово Павла Васильева, а потом и в него самого, когда ее познакомила с ним старшая сестра Евгения, жена Ивана Шухова. Павла

она тоже с первого знакомства обворожила, о чем он не замедлил сходу выдать экспромт:

Ах Галина ты Галина,
Не девчонка, а картина,
Малинка - смородинка,
Над губою родинка.

Завязавшуюся дружбу - любовь жизнь тут же подвергла испытанию разлукой: Павел вместе с Титовым отправился бродяжничать по Сибири. Вновь встретились они спустя год, уже в Москве, куда Павел перебрался, чтобы жить, а Галина приехала погостить к старшей сестре. Роман возобновился и быстро завершился: они стали мужем и женой.

Но настоящей семьи у них не сложилось. В нечастые наезды жены в Москву или мужа в Омск, молодым приходилось ютиться то у одних, то у других знакомых, одолевало безденежье. Слабым утешением были стихи, которыми он ободрял подругу жизни:

Ничего, родная, не грусти,
Не напрасно мы с бедою дружим,
Я затем оттачиваю стих,
Чтоб всегда располагать оружием.

Между тем у них ожидается ребенок, и в декабре 1932 года Павел везет жену к родителям. Погостили с ней у родителей и вернулся в Москву. Всего-то около года прожили они вместе, поддерживаая огонь в семейном очаге больше перепиской, чем личным общением. Нетрудно было

предсказать, что огонь этот задует любой порыв ветра. Жена в Омске, муж в Москве со всеми ее соблазнами. Да еще такой муж как Павел Васильев. И неизбежное случилось: поэт находит новую подругу - Елену Вялову. Галя хороша, мила, любима, но далеко, Елена тоже недурна и рядом, да еще и с квартирой и с могущественным родственником - мужем ее сестры Иваном Гронским, бывшим в то время редактором "Известий" и "Нового мира", вхожим в высшие коридоры власти. А тут травля, набор подготовленной к печати поэмы "Песня о гибели казачьего войска" приказано рассыпать, намеченный к изданию сборник стихов не выходит. И Павел сделал выбор.

Молодая женщина с ребенком на руках осталась вдовой при живом муже. В одном из писем той поры к старшей сестре она написала, что не想要 жить и только мысль о дочери останавливает ее от последнего шага. Впору ей было возненавидеть его, вычеркнуть из памяти, сжечь письма и фотографии. Но не таков характер этой милой женщины. Она всю жизнь сберегала все, что осталось от непутевого мужа - письма, фотографии, записки, телеграммы. Берегла и в те годы, когда хранить бумаги "врага народа" было небезопасно.

Дистанция времени позволяет нам заглянуть в эти сугубо личные документы...

Письма Павла многое дают для понимания его натуры и причин семейной драмы. Они драгоценны и как прекрасные образцы эпистолярного жанра.

“Письмо твое лишний раз обрадовало меня своей искренностью и свежестью. Я улыбался от удовольствия самым диким и непозволительным образом. Было страшно жаль, что близко нет тебя - схватить и расцеловать... Я ношуясь с твоими письмами, перечитываю их много раз и даже пытаюсь читать нараспев. Ей богу!..”

“Стало невозможным, что ты не пишешь. Стало душно и так нехорошо, тревожно на душе, что хоть бросай все и топись... Горько, больно - вот все, что могу сказать. Развожу руками. Ненужели и в самом деле все так глупо и бездарно скроено на свете. Почему я такой нескладный, нелюбимый и несчастный?.. Так чего же ты молчишь?.. Уже не любишь? И не любила? И все это так чепуха, ветер? Да? Да говори ты, ради бога! Ответь.. Пожалей меня хоть на часок, на минутку... Весточку... Маленькую весточку, Галина! Ты не представляешь, как я буду целовать эту маленькую бумажку, исчерканную твоей прелестной рукой, твоей воздушной рукой, твоей обожаемой рукой!..”

В следующем письме много милой чепухи, вопросов об омских знакомых, но главное - стихотворение. И какое!

Так мы идем с тобой и балагуриим.
Любимая! Легка твоя рука.
С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
Слетают голуби и облака.
Они теперь шумят над каждым домом,
И воздух весь черемухой пропах.

Вновь старый Омск нам кажется знакомым,
Как старый друг, оставленный в степях.
Сквозь свет и свежесть этих улиц длинных
Былого стертых не ищи следов,
Нас встретит благовестью листвьев тополиных
Окраинная Троица садов.
Закат плывет в повечеревших водах,
И самой лучшей из моих находок
Не ты ль была? Тебя ли я нашел,
Как звонкую подкову на дороге,
Порукой счастья. Грохотали дороги,
Устали звезды говорить о боге,
И девушки играли в волейбол...

“Галина! Твое письмо подействовало на меня лучше всякого лекарства. Я снова полон энергии, жажды деятельности... Ты для меня, Галина, теплое дыхание, ты для меня - все, где бы я ни был, - на Арапе, на Балхаше, на Муроме - я всюду буду думать о тебе со всей нежностью, какая мне только доступна. Мне чрезвычайно дорого, что есть девушка, которой я небезразличен, которая хоть на каплю, но любит. Ведь на каплю любишь?

Вот стихи, посвященные тебе - написал, когда ехал на Арап:

*И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто ее запретит?
Кто ее перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея -
Опаленными перьями фитилей...
Подойди же ко мне. Наклонись, пожалей!*

*У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры. Послушай, подруга,
Полюби хоть на выюгу, на этот часок.
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга,
Выпуская же на волю своих лебедей, -
Красно солнышко прячется в синее море
И за пазухой прячется ножик-злодей,
И голодной собакой шатается горе.
Если все, как раскрытие карты, я сам
На сегодня поверю - сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.*

*Я тебя страшно люблю, Галя, и, пожалуйста,
ни о чем не беспокойся, Галя. Никогда и ни за что
по отношению тебя не сделаю гадкого поступка.
Ни о каких Гронских речи быть не может!"*

Но “Гронские” все же возникли в его жизни и в последнем письме к Галине 22 марта 1934 года он пытается все объяснить и загладить.

*“Галючик, - верь-не верь - несмотря ни на что
я все-таки только одну тебя люблю и рано или
поздно (я постараюсь поскорее) мы будем вмес-
те...”*

*Галька, милая, верь мне хорошему и не верь мне
плохому. Я люблю тебя, Галька! Пиши мне, торо-
пи меня ехать к себе, я ведь тебя иногда и слу-
шался”...*

В марте 1932 года, когда Галина переехала к нему в Москву, и они пытались наладить семейную жизнь, Павла арестовали по делу “Сибирской бригады”. Они собирались вместе ехать в

командировку, жена “сидела на чемоданах”, Павел вышел в парикмахерскую - там его и взяли.

Он пытается скрыть от жены арест. Ему удалось передать ей записку:

“Галечка, милая!

Посылаю тебе денег и билеты, которые ты немедленно продай (если успеешь, конечно). Жди меня две недели, т.к. я неожиданно и срочно вынужден был выехать по очень важному литературному делу.

Дорогая, прости, что не мог известить тебя заранее, целую тебя, ненаглядная моя”.

Адресует он эту записку сестре жены, оберегая Галину от недобрых глаз.

Все же истинное местонахождение мужа ей стало известно. Она добилась приема у следователя Илющенко, который был настолько любезен, что сказал ей: “Муж, видно, очень любит вас, написал вам много прекрасных стихов”.

В анкете, заполненной поэтом на Лубянке, в графе “семейное положение” он написал: “холост”, по-видимому, с той же мыслью уберечь жену от возможного привлечения ее к следствию за недонесительство.

В одном из последних писем к жене он обещает: “...будем жить в провинции, как делают все порядочные люди, и в Москву приезжать только время от времени”. Благое это намерение осуществить не удалось. Тут многое сошлось: увлечение Н. Кончаловской, чуть позже статья М. Горького “О литературных забавах”, своего рода публичная казнь поэта, исключение из Союза писателей, драка с Джеком Алтаузеном, публикация в “Правде” письма

двадцати поэтов и писателей с требованием принять “решительные меры против хулигана Васильева”, и наконец, суд и приговор - полтора года лишения свободы.

Нескладно все у него получалось. Не до Галины стало. А что же Галина? Ее письма к мужу не сохранились. В кратких воспоминаниях она писала:

“... Павел был словно одержим радостью жизни, у него была торопливая походка, но “в развалку”, как у моряков. Он заразительно смеялся и вдруг задумывался, начинал читать стихи, которые только слагались в его сознании, Павел очень много работал над своими стихами; в девятнадцать-двадцать лет он сидел до рассвета, перечитывая строчки, начинавшие все снова. Нередко он будил меня ночью, чтобы прочитать понравившуюся ему строфию из своего нового творения. Так, однажды он прочитал мне в три часа ночи стихотворение “Конь” - “... Залетное счастье постигло меня, я выбрал себе на базаре коня...”

Однажды мы шли по берегу Иртыша. Я сказала ему: “Ты будешь сибирским поэтом”.

Он меня поправил: “Я буду русским поэтом...”

Тогда ему было двадцать лет, а мне девятнадцать. Ко мне Павел всегда относился чудно, и я была счастлива, что встретила его... Энергия кипела в нем. Не знал усталости. Прекрасно плавал. Переплывал Иртыш - видела своими глазами.

Павел был обаятелен, нежен, умен и весел. Часто каламбурил, сочинял экспромты.

В 1932 году мы с Павлом жили в Кунцево под Москвой. У нас не было даже жилья. В Москве

комнаты сдавались только холостякам. Поэтому, когда я ждала ребенка, Павел вынужден был увезти меня в Сибирь, в Омск. Это было в декабре 1932 года, а в апреле 1933 года в семье его родителей родилась наша единственная дочь Наташа.

Павел очень стыдился своей бедности. Когда мы бывали в гостях, он не разрешал мне говорить, где мы живем. Ему было тяжело. Я часто вспоминаю, как мы бродили с ним по московским улицам и глядели в окна, освещенные уютными абажурами. Но мы не горевали, так как были молоды и счастливы. Бежали на вокзал на электричку и ехали в свое Кунцево.

Павел унаследовал от отца упорство в труде, необыкновенную целеустремленность, любовь к литературе перенял от своей матери. Глафира Матвеевна окончила гимназию. Больше всего на свете любила читать. Я так и запомнила ее - с книжкой в руках, с журналами и газетами. Она с ними не расставалась нигде. У нас с ней сложились хорошие отношения, но еще ближе мы сошлись с Николаем Корниловичем, который часто говорил: "И где он ее такую нашел, будто она век была наша". У меня был голос высокий, и мы с ним пели дуэтом "Не искушай меня без нужды", чем доставляли удовольствие себе и семье. Кроме Николая Корниловича, ни у кого в семье не было ни слуха, ни голоса. У Павла был плохой музыкальный слух. А голос был приятный - бас.

Когда мы встретились с ним в Омске в 1935 году, была осень. Я помню увяддающий, сияющий

красотой железнодорожный сад, мы прощались с ним навсегда - об этом я не знала, не знал и он. Он целовал меня на прощание. Полуторагодовая дочка была дома, у бабушки. Он мне сказал тогда: "Галечка, только то время, когда мы были с тобой и у нас вовсе не было денег, я был счастлив".

Последнюю весточку я получила от него в декабре 1936 года. Павел Васильев был человеком больших чувств и страстей. Наша жизнь была неровной и трудной... Мы с дочерью живем в Рязани, очень любим стихи отца и свято чтим его память".

Не добраться к тебе. На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла, -

написал он в 1932 году.

Все дело именно в том и было: он чувствовал свое предназначение - "Суждено мне неуемной песней в этом мире прозвенеть", он знал меру своего таланта и жаждал признания, материального благополучия. И остался один на чужом берегу!..

Сколько было любви, сколько расчета в его союзе с Еленой Вяловой не нам судить. Елена точно любила. Она тоже знала толк в поэзии и могла оценить по достоинству такие строки, посвященные ей "гулякой праздным":

Слава богу,
Я пока собственность имею:
Квартиру, ботинки,
Горсть табака.

Я пока владею
Рукою твою,
Любовью твоей
Владею пока.
И пусть попробует
Покуситься
На тебя
Мой недруг, друг
Иль сосед,
Легче ему выкрасть
Волчат у волчицы,
Чем тебя у меня,
Мой свет, мой свет!
Ты мое имущество,
Мое поместье,
Здесь я рассадил свои тополя.
Крепче всех затворов
И жестче жести
Кровью обозначено
“Она - моя”...

Я еще нигде
Никому не говорил,
Что расстаюсь
С проклятым правом
Пить одному
Из последних сил
Губ твоих
Беспамятство
И отраву.

Спи, я рядом,
Собственная, живая,
Даже во сне мне
Не прекословь.
Собственности крылом
Тебя прикрывая,
Я оберегаю нашу любовь.

А завтра,
Когда рассвет в награду
Даст огня
И еще огня,
Мы встанем,
Скованные, грешные,
Рядом -
И пусть он сожжет
Тебя
И сожжет меня.

Елена Усиевич, литературный критик, высоко оценившая поэтический талант Васильева, в сентябре 1933 года написала Галине Анучиной о Павле:

“Я с ним порвала три дня назад, после страшного скандального пьянства, произведенного им в Ленинграде, куда нас ездило несколько человек... С Еленой он не развелся. Колотит ее... 26-го ночью, совершенно пьяный, он мне говорил, что прогнал ее и живет с киноактрисой Судакевич... С Судакевич возможно и сошелся, но с Еленой не порвал. Уверена”.

И добавила с беспощадной большевистской прямотой:

“Крепитесь, девочка, терпеть осталось меньше, чем уже терпели. Наташа подрастет, будет работать, встречать людей, жить. Только о Паше забывать вам надо. Каждая женщина, которая придет с ним в близкое соприкосновение - погибает, будет стерта в порошок, потеряет человеческий облик. Этого не изменить. Страйтесь о нем не думать”.

Все ли в этом письме-отлучении правда? Есть основания усомниться в этом. Е. Усиевич не только опекала Васильева, но и питала к нему слабость. Галина Анучина, видимо, казалась ей не парой поэту. И она не пожалела красок и не очень считалась с чувствами Галины. Пусть сидит в своем Омске и забудет о Павле. "Мир в справедливость женщин не верит, когда она других карает женщин", - сказал Шекспир. И приговор Е. Усиевич, по всей вероятности, именно тот случай...

Многое сбылось в этом пророчестве, но к счастью не все. Галина и Елена, связавшие свою жизнь с Павлом Васильевым, испили каждая свою чашу страданий. Галина в одиночестве растила дочь. Елена как жена врага народа в 1938 году была арестована, пять лет отсидела в лагере и тринадцать лет отбыла на поселении. Но человеческого облика ни та, ни другая не потеряли. И каждая в его жизни и посмертной судьбе сыграла свою великую роль. Галина Анучина дала ему дочь, выросли уже две внучки поэта. Елена Вялова, отбыв лагерь и ссылку, по крупицам собрала в периодической прессе тридцатых годов, в государственных и семейных архивах произведения поэта для первого посмертного сборника, воскресившего имя Павла Васильева из гроба беспамятства.

Определенно можно сказать: Павел Васильев не рожден был для семейной жизни. Елена Вялова при всей ее любви и преданности не в силах была удержать его от новых и новых увлечений.

Павел безумно влюбился в Наталью Кончаловскую. Видно, было в этой женщине что-то

неотразимо влекущее, если вокруг нее закрутился хоровод блестящих поклонников. Между Сергеем Михалковым и Павлом была даже рукопашная из-за нее. Выбрала она все-таки Михалкова. Ей Павел посвятил несколько стихотворений, лучшее из которых “Стихи в честь Натальи”. Были в этом стихотворении строки, прямо намекавшие на их интимную близость:

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрыленные плечи,
Взор и рассудительные речи...

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,
Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

Видимо, именно эти строки вызвали гнев Натальи Кончаловской и ее размолвку с поэтом.

Все житейское преходящее, искусство вечно.
Кто еще так мог сказать о красавице:

Так идет, что ветки зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят...

Из поколения в поколение шествовать васильевской Наталье в сердца и души людей.

Недавно обнаружены документы, свидетельствующие еще об одном увлечении поэта - мос-

ковской красавицей княжной Ниной Голицыной. Сохранилась тетрадь, заполненная стихами в честь этой прелестницы, написанными Васильевым и поэтом А.Е. Крученых.

Имеющихся материалов недостаточно, чтобы понять, на какой почве сошлись юноша Васильев и маститый Крученых. Можно только предположить, что таковой стала неординарность обоих как поэтов. Насколько дружескими были отношения между ними, можно судить по шутливой "Расписке-доверенности", данной Павлом Васильевым Крученых: "В случае, если А. Крученых застанет меня за выпивкой водки, поручаю ему выбить рюмку из рук и ударить меня в правое ухо", - гласит сей "документ", датированный 18 мая 1935 года.

Но друзья не только веселились. Как сообщил Дому-музею исследователь творчества А. Крученых Сергей Сухопаров (г. Херсон), в 1994 году в Мюнхене издана книга "Русский авангард", в которой содержатся материалы о П. Васильеве и А. Крученых, в частности текст их Открытого письма в Союз писателей после I съезда писателей. К сожалению, мы не располагаем этой книгой.

Трудно с определенностью сказать, насколько далеко зашли отношения наследницы знатного рода Нины Голицыной и Павла. На одной из фотографий он властно положил руку на ее плечо, а она снизу вверх восторженно и преданно смотрит на него. Но так могли подурачиться перед объективом и просто флиртующие друг с другом молодые люди.

Через двадцать пять лет А. Крученых так рассказал об этой истории одной из своих знакомых.

“Она была тогда лет двадцати, болела чем-то легочным, была слаба, лицо цвета печеного яблока, губы холодные и влажные, но подкрашенные. Посадка головы, как у Нефертити, и вообще - похожа. Хороший рост, широкие плечи и прелестный голосок. Артем Веселый познакомился с ней в доме отдыха, бывал у нее. Она - одна в квартире, ее только что оставил муж (актер Б. Ливанов). Толпа поклонников кишила вокруг. Артема привлек ее титул княжны. Сам он партизан, из крестьян. Но поклонники его отпугнули. В нее влюбились двое, и она спрашивала меня, за кого выйти замуж. Ответил, что ни за того, ни за другого, а влюбишься ты в третьего. Он тебя будет бить, а ты ему руки целовать. Я знал, что Павел Васильев неотразим, знал и ее характер. Однажды пришел к ней, а она сидит и плачет. Под глазом синяк. Заболела, лежала в больнице. Ей присыпали корзины с цветами. С П. Васильевым дело пошло врозь и опять надо было думать о замужестве. Тут соревновались дипломаты: итальянский и еще какой-то. Опять спрашивала: “За кого?”. Я посоветовал: “Во всяком случае за кого-нибудь одного”. Она выбрала итальянского, т.к. это сулило получение наследства. И уехала в Италию”.

Увлечение Голицыной нашло отражение в поэме “Синицын и К°”.

Золотопромышленник Синицын из таежной сибирской глупи прибывает в Москву выбирать

невесту. Мадам Горлицына (“хоть захудавшие, а князья”) держит литературный салон, в котором в окружении поэтов, льстецов и говорунов блестит дочь Ирен, “Главная обольстительница, Ирен Первостолицына”.

... Не дивиться нельзя
На Ирину Горлицыну -
Волосы стянуты узлищем тутим,
И глаза, попыхивающие под ресницами
Отсветом долгим,
Отсветом золотым и густым.
Вокруг нее охотников
Круги сужались,
Но покуда еще
Никому не довелось
Приручить, прикрутить,
Окольцевать ее палец,
Захватить хоть горсть
От пепла ее волос.

Сибирский миллионер засватал красавицу и укатил с ней за Урал.

Поэма “Синицын и К°” написана в 1934 году. А 1935-м годом датировано стихотворение “Посвящение Н.Г.”, опубликовавшееся в некоторых сборниках Васильева.

То легким, дутым золотом браслета,
То гребнями, то шелком разогретым,
То взглядом недоступным и косым
Меня зовешь и щуришься - знать нечем
Тебе платить годам широкоплечим,
Как только горьким именем моим.
Ты колдовство и папорот Купала

На жемчуга дешевые сменяла -
Тебе вериг тяжеле не найти.
На поводу у нитки-душегубца
Иди, спеши. Еще пути найдутся,
А к прежнему затеряны следы.

Теперь инициалы “Н.Г.” расшифровать нетрудно. В стихотворении все с натуры: дутое золото браслета, взгляд с косинкой, и сам намек на разрыв отношений: “А к прежнему затеряны следы”.

Говоря о любовной лирике Павла Васильева, не обойтись было без этого краткого рассказа о его отношениях с женщинами.

Но было бы недопустимым упрощением привязывать все произведения этой тематики к биографии поэта и трактовать в узко личном плане. Подлинные произведения искусства потому и переживают своих творцов, что, говоря о себе, они выражают общечеловеческое.

Даже “именные” стихи нельзя рассматривать как иллюстрации к биографии поэта. Показательно в этом отношении прекрасное стихотворение 1932 года “Строителю Евгению Стэнман”. Евгения Стэнман - соученица Павла, возможно, в школе он был по-мальчишески влюблен в нее. После школы жизнь развела их навсегда. Стихотворение глубоко лирично, с налетом светлой грусти. Элегический тон придает зачин:

Осыпаются листья, Евгения Стэнман, пора мне
Вспомнить весны и зимы и осени вспомнить пора.
Не осталось от замка Тамары камня на камне,
Не хватило у осени листьев и золотого пера.

И вдруг “декорации” резко меняются:

Сабли косо взлетали и шли к нам охотно в подруги,
Красногвардейские звезды не меркли в походах, а ты
Все бежала ко мне через смерть и тяжелые выюги,
Отстраняя штыки часовых и минуя посты...
И в теплушки, шинелью укутавшись, слушал я снова
Как сквозь сон, сквозь снега, сквозь ресницы гремят соловьи,
Мне казалось, что ты еще рядом, и понято все с полуслова,
Что еще не раскрыты глаза, не разомкнуты руки твои.

Если принимать на веру все, о чем сказано в стихотворении, не только гражданскую войну прошли автор и героиня, рука об руку идут они и на путях индустриализации страны.

Но в строительном гуле без памяти, без перемены
Буду слушать дыханье твое, и, как вечность назад,
Опрокинется небо над нами, и рядом мгновенно
Я услышу твой смех, и твои каблучки простучат.

Вот оно непостижимое чудо поэзии, творческого воображения. Что-то вспомнилось из светлой поры юности, а героика гражданской войны, развернувшегося в стране строительства требовали осмысления, поиска собственной причастности к ним, и рождается поэтический шедевр, нерасторжимый сплав правды и вымысла.

Вот как комментирует посвященные ей стихи Наталья Кончаловская.

“Когда я встретила Павла Васильева, он понапалу произвел на меня неприятное впечатление. Невзрачный малый, худой, скуластый, с копной белокурых вьющихся волос, с хищным разрезом

зеленоватых глаз, с властным очертанием рта и капризно оттопыренной нижней губой. Был он в манерах развязен, самоуверен, много курил, щурясь на собеседников и стряхивая длинными загорелыми пальцами пепел от папиросы куда попало.

Но стоило ему начать читать свои стихи, как весь его облик менялся, в нем словно загорался какой-то внутренний свет. Глубокий, красивого тембра голос завораживал. Читал он обычно стоя, читал только наизусть, даже только что написанные стихи, выразительно жестикулируя, и лицо его с тонкими трепещущими ноздрями становилось красивым, вдохновенным, артистичным от самой природы. И это был подлинный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо...

Мы вскоре подружились с Павлом. Бывало, после наших встреч у Герасимовых, у скульптора Златовратского или у старой чудачки поэтессы Марьяновой, обожавшей Васильева и часто устраивавшей вечера с чтением его стихов, Павел провожал меня домой, и мы долго бродили по летней ночной Москве, встречая рассвет на набережной, и было в этих прогулках что-то романтично-целомудренное.

Павел, имевший постоянный успех у женщин и привыкший к нему, ко мне относился по-особому, я бы сказала почтительно, хоть это не мешало ему хвастаться мнимой победой. Вот эта “победа” и была причиной создания одного из лучших его произведений - “Стихи в честь Натальи”. Так родился образ “той Натальи”, в который он вложил свое вдохновение, свою мечту о русской женщине, о красоте...”

Прошли годы, никого из участников любовных драм, нашедших то или иное отражение в лирике Павла Васильева, нет в живых. Новым поколениям эта лирика интересна своим многообразием и неповторимостью безотносительно к конкретным личностям.

Это целый мир человеческих страстей. Кажется, нет ни одной стороны вечно постигаемой и остающейся непостижимой тайны влечения мужчины к женщине. Первая любовь, разделенное и неразделенное чувство, разлука с любимой, флирт, ревность, измена, бравада, мужской эгоизм, раскаяние, мольба - и обо всем - незатертыми словами, с такой силой поэтической выразительности, которая позволяет без всякой натяжкиставить его лирику в один ряд с шедеврами Пушкина, Лермонтова, Есенина.

Откровенно, по-мужски, по-земному смотрит поэт на женщину, любуясь ее красотой, и уж если скажет о ней, то так, что мы, как живую, увидим ее, залюбуемся вместе с ним зацелованными зноем руками, губами-малиной, лебедями грудей, позолоченным из-под ресниц взглядом.

Девушка, женщина в его изображении - всегда чудо.

В красные отсветы, в пламень костра
Лебедем входит и пляшет сестра.
Дарены бусы каким молодцом?
Кованы брови каким кузнецом?..
Чьим повелением скажи, не тай,
Заколосились косы твои?

Кто в два ручья их тебе заплетал,
Кто для них мед со цветком собирал?

Поэту нравятся женщины в расцвете их зрелой красоты. И он умеет пользоваться кистью и красками фламандских мастеров живописи.

Вот Олимпиада, жена купца Дерова в “Соляном бунте”. Гостей встречает “как надо, всех одарила глаз прохладой”.

...На Олимпиаде
Душегрейка легка,
Бархат вишенный,
Оторок куний,
Буфы шелковые
До ушка,
Вокруг бедер
Порхает тюник.
И под тюником
Охают бедра.
Ходит плавно
Дерова жена,
Будто счастьем
Полные ведра
Не спеша
Проносит она.

Будто свечи
Жаркие тлятся,
Изнутри освещая плоть,
И соски сахарясь, томятыся,
Шелк нагретый
Боясь проколоть.
И глаза, от истом
Обугляясь,
Чуть не спят...

Но руки не спят,
И застегнут
На сотню пуговиц
Этот душный
Телесный клад.

Поэт может быть нежным:

Я клянусь, что средь ночей мгновенных
Всем метелям пагубным назло,
Сохраню я -
Молодых, бесценных,
Дрогнувших,
Как дружба неизменных
Губ твоих июньское тепло!..

Бывает жестоким и эгоистичным:

Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век.
Задыхаясь, ко мне приходила другая
И с волос ее падали гребни и снег.

“Ты меня понапрасну ждала”, - сочувствует он оставленной женщине и забытой им, но находит и слова утешения:

Ничего, дорогая! Я баловал с этой
Ни на каплю, никаколько ее не любя.

Все, что может быть, что бывает между мужчиной и женщиной, отливается в изумительные строки.

Была любовь, прошла, вдруг нахлынуло воспоминание, раскаянья.

Вся ситцевая, летняя, приснись,
Твое позабываемое имя
Отыщется одно между другими.
Таится в нем немеркнувшая жизнь:
...И, если сон приснится,
Я поцелую тяжкие ресницы,
Как голубь пьет - легко и горячо.
И, может быть, покажется мне снова,
Что ты опять ко мне попалась в плен.
И, как тогда, все будет бестолково -
Веселый зной загара золотого,
Пушок у губ и юбка до колен.

Она ушла к другому - и буря чувств - любовь, обида, ревность:

Какой ты стала позабытой, строгой
И позабывшей обо мне навек.
Не смейся же! И рук моих не трогай!
Не шли мне взглядов длинных из-под век.
Не шли вестей. Неужто ты иная?
Я знаю всю, я проклял всю тебя.
Далекая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя!

Подлинным гимном здоровой чувственности является стихотворение “Любовь на Кунцевской даче”.

Кровь бешеная, бейся без стесненья
В ладони нам, в сухой фанер виска...
Но ты не понимаешь слов, ты вся,
До перышка, падений жаждешь снова
И, глазом недоверчиво кося,
С себя старье снимаешь и обновы.

...Я тебя не знал
До этих пор. Обрызганная смехом,
Просторная, как счастье, белизна,
Меж бедер отороченная мехом.
Лебяжьей шеей выгнута рука,
И алый след от скинутых подвязок...
Ты тяжела, как золото, легка,
Как легкий пух полузабытых сказок.
Исчезло все и только двое нас...
Пускай узнает старая кровать
Двух счастий вес...

И великолепная ирония, брошенная вскользь
ханжам и ревнителям социалистической нрав-
ственности:

...Ясно вижу я,
Пока весна, пока земля потела,
Ты счастье двух мелких буржуа,
Республика, ей-богу проглядела.
И мудрено ль, что вижу я сквозь дым,
Теперь одни лишь возгласы и лица,
Республика, ты разрешила им
Сплетать ладони, плакать и плодиться,
Ты радоваться разрешила...

А ханжей и ревнителей было немало. Поэта обвинили в грубом натурализме, чуть ли не в порнографии.

Откроем святую книгу Библию, найдем “Песнь песней Соломона”.

- О как прекрасны ноги твои в сандалиях,
дщерь именитая! Округление бедер твоих, как
ожерелье, дело рук искусного художника; живот

твой - круглая чаша, в которой не истощается виноградное вино; чрево твое - ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои - как два козленка, двойны серны... Подкрепите меня вином, освежите фруктами, ибо я изнемогаю от любви...

Тысячелетия пережил этот гимн земной любви, и даже у церковников, проповедовавших умерщвление плоти, не поднялась рука исключить эту "порнографию" из святой книги. Не потому ли Библия у нас многие десятилетия была полузапретной?

В заключение этой главы предоставим слово женщине. Рязанская поэтесса Елена Сафонова так оценивает любовную лирику Павла Васильева:

"Говорят, что женщина любит ушами.

Какая женщина смогла бы не полюбить человека, который шепчет, склоняясь к самому уху: "Вся ситцевая, летняя, приснись..."? Или откровенно любуется: "У тебя ль глазищи сини, шитый пояс и серьга"? Или умоляет, стиснув зубы: "Далекая, проклятая, родная, люби меня, хотя бы не любя!" Или даже понимает: "Но ты припомнишь меж другими меня, как птичий перелет"? Это не стихи. Это признания, сделанные в минуты величайшей любви, знающие, кому они адресованы. Это целые сказания - завораживающие прекрасные, горячие от чувств, задевающие самые сокровенные струны души. Такие слова обречены найти путь к сердцу самой жестокой, самой капризной женщины. И надо же - душа

кипит, разрывается на части, любовь безгранична, страсть непобедима, но речь удивительно красива, сочетание слов, образов, мыслей поражает своей гармонией. Как видно, талант в любви и талант в поэзии идут рядом.

Так мне захотелось сказать о Павле Васильеве. Можно было бы вспомнить о других его стихотворениях, имеющих “социальную” окраску, или о лирических размышлениях на вечные, тревожащие всех поэтов темы... Но женскую душу прежде всего трогает рассказ о чьей-то любви. Читаешь признания - сердце замирает, и уже кажется, что они обращены к тебе... На первом месте для меня в творчестве Павла Васильева - любовная лирика. Пусть простят меня почитатели других сторон его многогранного таланта за такое женское слово”.

ТРАВЛЯ

Поистине роковую роль сыграл в судьбе Павла Васильева Максим Горький. Человек удивительной судьбы, всемирно известный писатель обесславил закат своей жизни, ввязавшись в околовлитературные склоки в качестве эдакого “писательского дядьки”. “Я в мир пришел, чтобы не соглашаться”, - заявил он, начиная свой писательский путь, а закончил его позорным соглашательством с одним из самых жестоких политических режимов. Чем объяснить эту метаморфозу? Идеализмом? Оторванностью от народа? Старческим тщеславием? Загадку эту вряд ли кто сможет до конца разгадать. Восстановим страницы жизни Павла Васильева, связанные с именем Максима Горького, в их последовательности.

14 июня 1934 года в “Правде” и других центральных газетах была опубликована статья Горького “Литературные забавы”. Процитируем ее в части, касающейся молодого поэта. “Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, “широкой натуры”, его “кондовой мужицкой силищей” и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззарить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя

ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно "взирают" на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние "короче воробышного носа".

Уже одного этого, кажется, было достаточно. Васильев объявлен чуть ли не фашистом. Но рука у Горького расходилась. Из анонимного письма некоего "партийца" он цитирует также строки: "Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически - (что не ново знающим творчество Васильева) это враг".

На поэта обрушился целый шквал проработок и общественных осуждений. Горьковская фраза о хулиганстве и фашизме запорхала по страницам печати.

Если И.М. Гронский точен в своих воспоминаниях, сам Горький вскоре испытал некоторый душевный дискомфорт от своего выступления.

"Летом 1934 года мы с А.Н. Толстым как-то навестили Горького, - пишет Иван Михайлович. - Сели обедать. Алексей Максимович обращается ко мне:

- Вы сердитесь на меня за Павла Васильева?
- Да, нет, не сержусь, но я просто поражен, как вы могли написать такую вещь. Вы, Алексей Максимович, разглядели в Васильеве только

проблему бутылок, которыми он не очень-то и увлекается. А стихи его вы читали?

- Мало. Так, кое-что.

- Как можно писать о литераторе, не читая его?

Это совершенно потрясающей талантливости поэт!

Мы с Горьким вступили в спор на грани ссоры, Толстой встал и ушел. Потом вернулся с пачкой журналов в руке:

- Ну что вы ссоритесь? Давайте-ка я вам лучше стихи почитаю, это куда полезнее.

И Толстой, открыв журнал, начал читать. Одно стихотворение, потом другое, третье. Горький встрепенулся.

- Алексей Николаевич, кто это?

А Толстой продолжал читать.

- Кто, кто это? Что это за поэт? - басит Алексей Максимович. И Толстой, перегибаясь через стол, говорит:

- Это Павел Николаевич Васильев, которого вы, Алексей Максимович обругали.

- Быть не может!

- Вот, пожалуйста, - Толстой передал журналы. Горький взял и стал читать одно за другим стихотворения. Дочитал... Налил себе виски:

- Неловко получилось, очень неловко...”

Павел в ответ на статью Горького написал эпиграмму:

Пью за здравие Трехгорки.
Эй, жена, завесь-ка шторки,
Нас увидят, может быть,
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить.

Эту эпиграмму я прочитал Горькому. Горький рассмеялся.

- Какая умница! Ведь вот одно слово “приказали”, всего-навсего одно слово! И одним словом он меня отшлепал! Не придерешься! Приказали. Ведь так говорили о своих господах. “Барин приказали!”, “Барыня приказали!”...

Но Васильеву от этих барских застольных разговоров легче не стало. И он пишет письмо Горькому.

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Я вполне понимаю всю серьезность и своеевременность вопроса о быте писателей, который вы поставили в вашей статье “О литературных забавах”.

Меня лично Ваша статья заставила глубоко задуматься над своим бытом, над своим творчеством и над кругом интересов, которые до сих пор окружали меня и меня волновали.

Я пришел к выводу, что должен коренным образом перестроить свою жизнь и раз и навсегда покончить с хулиганством, от которого, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробышного носа. Свою перестройку я покажу на деле.

Но, Алексей Максимович, в письме, которое вы публикуете в своей статье, неизвестный автор называет меня прямо политическим врагом. Это глубоко неправильно и голословно. Имея в своих произведениях отдельные идеологические срывы, политическим, т.е. сознательным, преднамеренным и

расчетливым врагом Советской власти и литературы я не являлся и никогда являться не буду.

Вы, Алексей Максимович, человек, окруженный любовным и заботливым дыханием всей нашей великой страны, человек, вооруженный неслыханным в мире авторитетом, больше чем кто-либо другой, поймёте, что позорная кличка “политический враг” является для меня моей литературной смертью.

Большинство литераторов и издателей поняли вашу статью как директиву не печатать и изолировать меня от общественной работы.

Отдельные же конъюнктурщики, типа Льва Никулина, уже торопятся к слову “политический враг” прибавить и другие, вроде “антисемит”.

Я думаю, Алексей Максимович, что такая заклевывательная кампания вовсе не соответствует Вашим намерениям, что Вы руководитесь другими чувствами и что мне открыты еще пути к позициям настоящего советского поэта.

Великому гуманисту такого не слишком повинного письма, видимо, показалось мало. Он по всей вероятности поручил кому-то дать понять Васильеву, что ответит ему лишь в том случае, если тот недвусмысленно признает себя виноватым и даст твердое обещание исправиться.

Высказываю это предположение потому, что процитированное письмо сохранилось только в архиве Горького, а ответил он уже на другое письмо Васильева с несвойственной ему риторикой.

Васильев написал:

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Ваша статья “О литературных забавах” под-

няла важный и неотложный вопрос о быте писателя.

Я хочу, Алексей Максимович, со всей искренностью и прямотой рассказать Вам, какое впечатление эта статья произвела на меня и о чем заставила задуматься.

Советская общественность не раз предостерегала меня от хулиганства и дебоширства, которые я "великодушно" прощал себе. Но только Ваша статья заставила меня очухаться и взглянуть на свой быт не сквозь розовые очки самовлюбленности, а так, как полагается - вдумчиво и серьезно.

Стыдно и позорно было бы мне, Алексей Максимович, если бы я не нашел в себе мужества сказать, что, да действительно, такое мое хулиганство на фоне героического строительства, охватившего страну, и при условии задач, которые стоят перед советской литературой, - является не "случаями в пивной", а политическим фактором. От этого хулиганства, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробынного носа. И плохо, если здесь главным обвинителем будет советская общественность, а не я сам. Ибо ни партия, ни страна не потерпят, чтобы за их спиной дебоширили и компрометировали советскую литературу отдельные распоясавшиеся писатели.

Не время! Мы строим не "Стойло Пегаса", а литературу достойную нашей великой страны.

И Вы, Алексей Максимович, поступили глубоко правильно, ударив по мне и по тем, кто следовал моему печальному примеру.

Скандаля, я оказывал влияние на отдельных поэтов из рабочего молодняка, как например, на Смолякова. Я думаю, что Ваша статья отбила у них охоту к дальнейшим подражаниям и кроме пользы ничего не принесла.

Мне же нужно круто порвать с прошлым. Я прошу Вас, Алексей Максимович, считать, что этим письмом я обязываюсь раз и навсегда прекратить скандалы и завоевать право называться советским поэтом.

Алексей Максимович! Мне, конечно, трудно рассчитывать на Ваше доверие. Но, так как, я повторяю, я пишу это письмо, я хотел бы прибавить ко всему сказанному еще несколько слов: имея значительные идеологические срывы в своих произведениях, никогда не являлся и не буду являться врагом Советской власти.

Это - независимо от мнений "поклонников" моего таланта и его врагов.

Это - я не раз докажу на деле.

Павел Васильев.

Горький счел нужным опубликовать это письмо в печати вместе со своим ответом. "Барин" на этот раз чуть смягчился, он вроде бы даже немного оправдывается.

Письмо М. Горького П. Васильеву:

Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если бы не думал, что Вы писали искренне и уверенно в силе Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, чтоб вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, - которое - как подросток - требует внимательного воспитания, если

это сбудется, тогда Вы, наверное, войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт.

О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так часто, что я должен был упомянуть о Вас, - в числе прочих, как Вы знаете. Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, - охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это - не очень легкая и очень неприятная работа. Особенно неприятна она тем, что как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово - то тотчас же на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше, а часто - хуже. Так было в случае с Панферовым: немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панфера зарычали, залаяли даже те люди, которые еще накануне хвалили его. Этих двоедушных, беспринципных паразитов пролетариата нужно ненавидеть, обличать, обнажать их гнусненькое лицемерие, изгонять из литературы так же, как всякого, кто так или иначе компрометирует советскую литературу, внося в нее всякую дрянь и грязь.

М. Горький.

Безадресное это ворчание о “двоедушных, беспринципных паразитах” было не более, чем сотрясение воздуха. Травля Васильева, “узаконенная” великим пролетарским писателем, набирала новые обороты и, в конце концов, была доведена до логического конца, сформулированного им же:

“Если враг не сдается, его уничтожают”. Но об этом позже.

Знал бы Горький, доживая свой век в золотой социалистической клетке, как беспощадно написал о нем уже известный читателю Рютин, отбывавший в то время одиночное заключение.

“Прочел на днях статью Горького “Литературные забавы”. Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя.

Худшие из мертвцов - это живые мертвецы, да притом еще с талантом и авторитетом прошлого.

Горький-публицист всегда был тем нашим “любимым” русским сказочным героем, который на похоронах кричит “Таскать бы вам не перетаскать”, а на свадьбе - “Канун да свеча”.

Горький-публицист позорил и скандализировал Горького-художника.

Его трагедия - огромное художественное чутье и почти никакого философского и социологического. Схватив верхушки и обрывки философии и социологии, он вообразил, что этого достаточно не только для того, чтобы “изображать”, но и для того, чтобы теоретически “поучать”. Горький-певец человека превратился в тартюфа, Горький “Макара Чудры”, “Старухи Изергиль” и “Бывших людей” в тщеславного ханжу и стяжателя “золотых табакерок”, Горький-Сокол в Горького-ужа, хотя и “великого”. Человек духовно уже умер, но он все еще воображает, что переживает вторую молодость. Мертвый хватает живых! Да, трагично!..”

Разумеется, этот голос из одиночки никем тогда не был услышен, письмо Рютина увидело свет спустя шесть десятилетий. Воистину, как сказал какой-то мудрец, правда в конце концов торжествует, жаль только, что жизнь бывает слишком коротка, чтобы порадоваться этому.

Александру Фадееву, многие годы возглавлявшему Союз писателей, Члену ЦК КПСС и прочая и прочая, дано было пережить горькое осознание своей вины перед литературой. Когда из тюрем и лагерей вернулись немногие из оставшихся в живых литераторов, ему довелось услышать от них беспощадные слова в свой адрес. Ужаснулся человек содеянному и пустил в себя пулью, оставив предсмертное письмо. Это письмо - его покаяние и очищение.

В письме есть такие строки: "...литература загублена самоуверенно-невежественным руководством партии, лучшие писатели в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить... Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь, клевета, ухожу из этой жизни".

М. Горький умер то ли своей смертью, то ли отравленный по приказу вождя, "железную волю" которого он столько славил, не осознав глубины своего падения, не покаявшись перед ра-

стерзанными тенями тех, кого и он своей служливостью режиму, своим старческим менторством обрекал на заклание.

Вывод из этого печального факта однозначен: подлинный художник больше всего должен дорожить своей независимостью от властей предержащих.

Жаль только, что история никого и ничему не учит.

* * *

В августе 1934 года начался I съезд писателей. Открыл его Горький. Бухарин в своем выступлении отметил “исключительно большие” поэтические возможности Павла Васильева, не преминув предупредить: займет свое место в общем строю, если “обломает в себе острые углы собственнической дикости”. Но Бухарин уже и сам был на подозрении и об этом знали все. Делегат Я. Блюмкин подверг критике бывшего большевистского лидера: преувеличил талант Васильева, недокритиковал его! Ему вторил А. Безыменский: у Васильева люди “из нашего лагеря” бледны, схематичны, а образы казаков, белогвардейцев, кулаков - живописны.

В Кремле делили власть над страной. Карикатура, опубликованная эмигрантской русской газетой, точно отражала сущность этой схватки в верхах. На одном берегу стоят Сталин, Микоян, Орджоникидзе, на другом - Троцкий, Зиновьев, Каменев. Подпись к ней гласила: “И заспорили славяне, кому править на Руси”. Кто бы ни вы-

игрывал в этом споре, народу добра было не ждать: и те и другие - все вылетели из знаменитого запломбированного вагона.

В декабре 1934 года, после убийства Кирова, борьба против творческой интеллигенции стала еще беспощадней. Похвала Бухарина в этих условиях дорого обошлась Васильеву.

10 января 1935 года "Литературная газета" сообщила: секретариат ССП рассмотрел материалы о дебоширстве и хулиганстве в общественном месте поэта и постановил за антиобщественные поступки и как неоправдавшего доверия, нарушившего обещание исправиться, данное им А.М. Горькому, исключить Павла Васильева из членов Союза советских писателей. Это автоматически влекло за собой негласный запрет на публикацию его произведений. (С 4 января 1935 года по июнь 1936 не было опубликовано ни одной строчки Павла Васильева).

"Охота на ведьм" в стране приобретала все новый накал. В январе 1935 года был вынесен приговор по делу Зиновьева, Каменева и других. Истерическая кампания всенародного одобрения, организованная сверху, подстегнула инициативу снизу по выявлению врагов всюду, где они затаились. Творческой интеллигенции тоже было необходимо найти их в собственных рядах. Павел Васильев всей своей биографией и творчеством, как нельзя лучше, подходил для этой цели.

И, как нельзя более кстати, сам Васильев еще раз подставился. На одной из вечеринок Д. Алта-

узен оскорбительно отозвался о женщине, которой Павел Васильев посвятил не одно стихотворение. Васильев закатил ему оплеуху. Опять дебош, опять Васильев!.. И не просто бытовой скандал - кулацкий поэт избил комсомольского поэта! Кто-то пустил по Москве слух: Васильев ходит с дубинкой, показывая всем запекшуюся на ней кровь со словами: "Это кровь Джека Алтайзена". Матерый контрреволюционер глумится над лучшими представителями творческой интелигенции и все сходит ему с рук!..

Тут и вышел на сцену Л.З. Мехлис, бывший в то время руководителем "Правды". Долгое время этот человек пользовался особым доверием Сталина. Вождь благоволил к нему за его выдающееся усердие в поисках "врагов". Мехлис находил их на всех постах, которые доверяла ему партия, а ему доверялись ответственные - в аппарате ЦК, в идеологических службах, в армии. Жертвами его сверхбдительности стало немало советско-партийных работников, писателей, ученых, военачальников. Дело мастера боится. В скандальном инциденте с пощечиной наметанный глаз Мехлиса усмотрел контрреволюционную подоплеку. Пользуясь высоким служебным положением и страшной своей славой искоренителя врагов народа, он без труда собрал подписи под коллективным письмом писателей и опубликовал это письмо в "Правде".

"В течение трех последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически реакцион-

ных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева.

Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую поддержку, этот человек совершенно безнаказанно делает все для того, чтобы своим поведением бросить вызов писательской общественности.

Меры воздействия (и воспитательные, и репрессивные) никакого результата не дали. Павел Васильев, исключенный из Союза писателей за систематическое хулиганство, игнорировал и сурьмовое предупреждение А.М. Горького в статье "Литературные забавы", и многочисленные другие предупреждения советской печати.

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма.

Ко всему сказанному присоединяется и то, что Васильев своим цинично-хулиганским поведением и своей безнаказанностью стимулирует реакционные и хулиганские настроения среди определенного слоя околовлитературной молодежи. Более того, Васильев окружил себя группой "литературных молодчиков", носителей самых худших богемских навыков. В разговорах с молодыми он постоянно бра-

вирует своей безнаказанностью и своим хулиганством, добиваясь определенного направления в формировании характера этих молодых литераторов.

Все сказанное подтверждает, что реакционная творческая практика Васильева органически сочетается с характером его общественного поведения и что Павел Васильев - это не бытовая "персональная" проблема.

С именем Павла Васильева, кроме всего прочего, связано такое явление в нашей литературной жизни, как возникновение и процветание всяких "салонов" и "солончиков", фабрикующих непризнанных гениев и создающих им искусственные "имена".

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным".

Под письмом были подписи Н. Асеева, А. Безыменского, А. Жарова, В. Инбер, А. Суркова, А. Прокофьева, В. Луговского, Б. Корнилова, Б. Иллеша, М. Голодного, Д. Алтаузена, К. Зелинского, Н. Брауна, С. Кирсанова, Б. Агапова, А. Гидаша, В. Саянова, А. Решетова, И. Уткина, В. Гусева.

"Письмо двадцати" Васильев воспринял как смертельный приговор. Рассказывают, что однажды, будучи в литературном институте, он взглянул в окно и неожиданно спросил:

- Ребята, не на той ли скамеечке в последний раз сидел Маяковский и Алекса Довженко?

- Говорят, что там, - ответил кто-то. Васильев поспешил попрощаться и ушел.

На суде, состоявшемся в августе 1935 года, при всей предопределенности в его исходе, выяснились и обстоятельства, не соответствующие фактам, изложенным в "письме двадцати". Скандал произошел не в писательском доме, а в квартире Алтаузена. Васильев отрицал совершение каких-либо насильственных действий и признал себя виновным лишь в том, что " злоупотреблял блатным жаргоном"; не доказанными остались угрозы Васильева "размозжить голову предателю Асееву и посчитаться с пролетарскими поэтами, которым скоро конец" и т.д. Недоказанность, однако, судом не была принята во внимание. Зато суд инкриминировал Васильеву еще и " проживание в Москве в течение нескольких лет без прописки, дачу неточных сведений о своем возрасте". Всего набралось достаточно для того, чтобы приговорить поэта к полутора годам лишения свободы. "Правда" поспешила закрепить достигнутый успех. На следующий день после суда она сообщила, что в ходе разбирательства выяснилась картина хулиганств и дебошерской Васильева, которые сопровождались "антисемитскими и антисоветскими выкриками".

После трехмесячного пребывания в исправительно-трудовом лагере Васильев решил снова обратиться к Горькому, которого не без основания считал причиной всех обрушившихся на него бед.

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

В Ваших глазах я, вероятно, похож сейчас на того скверного мальчика, который кричит “не буду, дядя”, когда его секут, но немедленно возобновляет свои пакости по окончании экзекуции.

Аморальный, хулиганский, отвратительный, фашистский - вот эпитеты, которыми хлестали меня безостановочно по глазам и скулам в нашей печати. Я весь оброс этими словами и сам себе кажусь сейчас какой-то помесью Махно с канарейкой.

Ваше чудесное и добroе письмо, Ваша неожиданная помощь, так осчастливившие меня в свое время - теперь превратились в грозное орудие против меня, заслонили мне дорогу назад и зажгли во мне мучительный стыд.

Мне понятно теперь, как опасна бывает иногда помощь великанов!

После Вашего письма, садясь за работу, я думал: вот возьму и напишу такое, чтобы все ахнули, и меня похвалит Горький! Я гордец и я честолюбив, Алексей Максимович, - и, ложась спать, я говорил жене:

- Вот погоди, закончу задуманное - Горькому понравится...

Я сработал поэму “Кулаки”, прочел ее знакомым, перечел сам и убедился, что она “не то”. И почувствовал апатию к ней. Озлобился. Выпал несколько раз. Из-за ерунды поскандалил с Эфросом. Этот по существу ничтожный и ограничившийся обоюдной руганью случай не привлек бы ничего внимания, если б за несколько месяцев назад Вы

своим письмом не вытащили меня на “самый свет”.

Получилось плохо. Меня исключили из Союза писателей (не выполнил обещаний), фактически запретили мне печататься где-либо, оставили меня буквально без копейки. Я метался из стороны в сторону, как совенок днем, искал хоть какой-нибудь поддержки, куска хлеба, наконец, для себя и семьи.

Я раз двадцать просил т. Щербакова отправить меня на стройку, в колхоз - от стыда, от многих улыбающихся и нелюбящих меня, от самого себя. Щербаков говорил: “Иди к Гронскому - Гронский пошлет”. Гронский же отправлял к Щербакову: “Пусть пошлет Щербаков...”.

Но в глубине моей души тлела надежда - все-таки подняться, непримиримый огонек - единственное, что я ценю в себе. И снова сел работать. В это время я начал и довел до половины лирическую поэму “Христолюбовские ситцы”.

Семь месяцев сиднем сидел дома. Выпивать же стал под конец главным образом (не преувеличиваю!) потому, что “друзья” вместе с водкой приносили и закуску.

Мне трудно Вас уверить, но историю с Алтайзеном расписали в “Правде” страшно преувеличено. Просто, видимо, решили положить конец и т.д...

Вот уже три месяца, как я в испр. труд. колонии при строительстве завода Большая Электросталь.

Я работаю в ночной смене краснознаменной бригады, систематически перевыполняющей план.

Мы по двое таскаем восьмитонные бетонные плахи на леса. Это длится в течение девяти часов каждый день. После работы валившись спать, спиши до "баланда" и - снова на стройку.

В выходные дни играем на гармонях, беседуем, и я частенько рассказываю о том, как вы написали чудесное и добroе мне письмо, и как недовольны были этим люди, хотевшие моей погибели...

Я не хныкаю, Алексей Максимович, но зверская здешняя работа и грязь ест меня заживо, а главное, самое главное, лишает меня возможности заниматься любимым - литературой.

Мне нечего трусить и лгать и нечего терять - проверял сейчас себя на бетонных плитах, вижу, что, несмотря ни на что, люблю свою страну, люблю свое творчество и наперекор всему - уцелю.

Но как не хватает воздуха свободы!

Зачем мне так крутят руки?

Я хотел бы сейчас работать где-нибудь на окраинах Союза. Может ли быть заменена тюрьма высылкой в какие угодно края, на какой угодно срок?

Я имею наглость писать эти строки только потому, что знаю, огромны запасы любви к Человеку в Вашем сердце.

Ну вот и все... Если не изменится ничего в теперешнем бытие моем - все равно не пропаду, сожму зубы, перемучусь и дождусь срока.

23 сентября 35 г. Весь Ваш Павел Васильев.

ИТК. Электросталь.

Может ли быть заменена тюрьма высылкой в какие угодно края, на какой угодно срок?" Видимо, надеясь хотя бы на такое избавление от тюрьмы, Васильев и написал пронзительное стихотворение "Прощанье с друзьями".

Друзья, простите за все, в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.

Ваши руки стаями на меня летят -
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные -
С юностью, как с девушкой, рас прощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово - родные,
От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него.
Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним,
Вы обо мне забудите, - забудьте! Ничего,
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете - то ли зашумит рожь,
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,
Верится, как собаке, а во что - не поймешь,
Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком за горесть мою,
За то, что смеялся, покуда полыни запах...
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гости дорогого встретить как надо.

А как его надо - надо его весело:
Без песен, без смеха, чтобы ти-ихо было.
Чтобы только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, - я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,
Подпервшись в бока, на бородах снег.
“Ты зачем, бедовый, будешь с нами,
Нет ли нам помилования, человек?”

Я же им отвечу всей душой:
“Хорошо в стране нашей, - нет ни грязи, ни сырости,
До того, ребятушки, хорошо!
Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени - по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...

... Горький прочитал письмо, подчеркнул красным карандашом некоторые места: “восьмипудовые бетонные плахи”, “зверская здешняя работа”, “но как не хватает воздуха свободы”, “Зачем мне так крутят руки?”. Может быть, даже, пролезился, но ничем не помог.

Помог И.М. Греков. Вот как рассказал он сам об этом в своих воспоминаниях. “Прошло больше полугода. На каком-то банкете, устроенным в Кремле, ко мне подошел В.М. Молотов:

- Иван Михайлович, почему в журналах не видно произведений Павла Васильева?
- Вячеслав Михайлович, он в тюрьме сидит.
- Как в тюрьме??!
- Вот так, - отвечаю. - Как у нас люди сидят.

На другой день после нашего разговора П. Васильев был переведен из Рязанской тюрьмы, где он отбывал заключение, в Москву и через два-три дня освобожден из-под стражи".

Васильев как одержимый берется за работу.

Все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Спустя десятилетия кое-что прояснилось и в истории с "Письмом двадцати", не оставляющее сомнений в том, кто явился его инициатором и как собирались подписи. В архиве А. Безыменского обнаружен написанный его рукой черновик письма. Тут все ясно. Г. Санников, присутствовавший на вечеринке у Д. Алтаузена, показал на допросе на Лубянке в 1956 году, что скандал был спровоцирован Д. Алтаузеном.

Б. Корнилов был даже не москвич, он приехал из Ленинграда и оказался как нельзя более кстати, на него "надавили" и он подписал. И. Уткин дружил с Васильевым, но, видимо, не смог противостоять нажиму. Документальных свидетельств о том, насколько добровольно подписывались другие, нет, и нам не остается ничего другого, как оставить это на их совести. Некоторые из "подписантов" впоследствии в какой-то мереデザувировали свои подписи.

В 1956 году на запрос Главной военной прокуратуры Н. Асеев дал пространную характеристику Павлу Васильеву. Ее стоит привести полностью.

"Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, обладавшим незаурядным даро-

ванием изображать людские страсти, природу, обычай простого населения. При этом он обладал чувством языка в высшей степени яркого, меткого, выходящего из самых глубин народного говора, что придавало его стихам удивительную выразительность и силу.

Лично я знал поэта П. Васильева мало... Он относился ко мне как к поэту старшего поколения, с мнением которого он считался и суждениями моими о его стихах он, очевидно, дорожил. У меня он бывал раза два или три, читал свои произведения. Когда я отмечал удачные и неудачные места в этих произведениях, то он прислушивался к моим мнениям и если и возражал, то лишь с точки зрения их местного отличия от говора и обычаяв разных краев нашей страны.

Политических взглядов он мне никогда не высказывал, оставляя их как бы неразделимыми и неотделимыми от взглядов и убеждений большинства народа. Связью своей с народом очень дорожил, часто давал мне понять, что он именно представитель народной речи, народных вкусов, народных желаний и чаяний. Но это не было каким-то отдельным пафосом народности. Он так думал и так был убежден в своей принадлежности к народным глубинам.

Характер его был неуравновешенный, быстро переходящий от спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечатлительность повышенная, преувеличивающая все до гигантских размеров. Это свойство поэтического восприятия мира, нередко наблюдаемое у больших поэтов и писателей, как,

наприимер, Гоголь, Достоевский и Рабле. Но все эти качества еще не были отгранены до полного блеска той мятущейся и не нашедшей себя в жизни натуры, которую представлял из себя Павел Васильев. Отсюда его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание его полностью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность на быстрые и незаслуженные успехи других поэтов, менее даровитых, но более смышленных и принаравливающихся к обстоятельствам времени.

Меня он привлекал к себе главным образом той непосредственностью таланта, которая сквозила во всех проявлениях его характера. Даже его выходки и бравады против меня были доказательством его непосредственной заинтересованности в поэзии. Я, как мог, доказывал ему, что линия Маяковского в поэзии - единственная правильная и приемлемая для советского поэта. Он слушал меня, противопоставляя свое знание народного быта, коренного уклада жизни, не изменяющегося в течение долгих сроков и не могущего измениться сразу. Маяковский, да и я казались ему чересчур поспешными людьми, старающимися изменить бытовой идиотизм деревенской жизни без точного знания его уклада. В этом были наши с ним расхождения. Но его позиция в этих вопросах все же была не твердокаменна и не безусловна. Он иногда задумывался над тем, что я ему говорил. В ответ на эти разговоры, как мне кажется, были написаны его строчки, в которых он отстаивал свое право на революционность своей поэзии. Не помню теперь точно, как они звучали в подлиннике, но приво-

*жу их по памяти: “Еще время не решило, чей спра-
ведливей путь. Мы еще посмотрим, кому Вороши-
лов приколет красный орден на грудь”. Две после-
дние строчки я твердо запомнил. Они, по-моему,
свидетельствуют о понимании Васильевым и сво-
его значения, и своей роли как поэта и граждани-
на больше, чем какие бы то ни было умозаключе-
ния о его настроении.*

*Не знаю, что с ним случилось потом и какими
путями он пришел к своему печальному концу. Но
все, что мною здесь изложено, является действи-
тельными впечатлениями от моего кратковремен-
ного знакомства с П.Н. Васильевым.*

Писатель Николай Николаевич Асеев
27 марта 1956 года”.

Это написал человек, поставивший в свое время подпись под “Письмом двадцати”. В одном из интервью Наталья Кончаловская так прокомментировала этот эпизод в его биографии: “Он же был мальчишкой... И когда я вижу подпись старого Асеева под этим всем, под этим письмом... Они были уже в возрасте тогда - как же они ему не прощали совершенных его мальчишеских выходок!.. Вскоре после этого инцидента Асеев в том же доме улучшил свои жилищные условия... То есть, очевидно, эта подпись ему пригодилась”.

Корнелий Зелинский более двух десятилетий спустя, в 1957 году, в предисловии к первому посмертному сборнику стихов и поэм П. Васильева, хотя и не вспомнил о своей подписи под злопо-

лучным письмом и не покаялся, загладил свой грех признанием необыкновенного таланта поэта и его права остаться жить в советской литературе.

* * *

Среди ярлыков, навешанных в свое время на Павла Васильева - кулацкий, антисоветский поэт, классовый враг, контрреволюционер, террорист, был еще один, кажется, переживший все остальные - антисемит. Попытаемся объективно разобраться, откуда растут ноги у этой лжи?

Обостренное отношение к любым проявлениям антисемитизма в СССР имело под собой достаточное основание. Одной из составляющих его была историческая память о бесправии евреев в России, еврейских погромах, имевших место в периоды наибольшей социальной напряженности. Не мог не вызывать у евреев всего мира, в том числе советских, опасений за судьбу народа, геноцид, связанный с приходом к власти Гитлера в Германии. Антисемитизм, таким образом, отождествлялся с фашизмом. И брошенная Горьким фраза..." от хулиганства до фашизма расстояние короче воробышного носа", была подхвачена, беспрерывно тиражировалась, обретая по отношению к Павлу Васильеву все признаки несмыываемого клейма...

Андрей Платонов заметил о том времени, что "человеку, чтобы спокойно жить, надо иметь двух свидетелей, готовых подтвердить, что он всю жизнь побирался". Наверное, поэтому в моде были "знаковые" псевдонимы. Стал Михаил Эпштейн подписывать свои стихи псевдонимом "Го-

лодный”, понимай: это поэт ультрапролетарской чеканки. Псевдоним “Безыменский”, очевидно, намекал на безродность, а значит причастность к безликой народной массе, призванной строить новый мир. Эти псевдонимы к тому же были как бы продолжением традиции, ставили их обладателей в один ряд с “эверестами” пролетарской литературы Максимом Горьким и Демьяном Бедным. Их революционности не было предела, они готовы были крушить все, что так или иначе свидетельствовало о величии прошлого.

А Павел Васильев громогласно заявил, что не будет петь по указке Семена Родова, считал бездарными поэтами Александра Безыменского и Михаила Голодного, дал по физиономии Джеку Алтаузену за оскорбление, нанесенное женщине.

Нынешнему читателю имена Безыменского, Алтаузена и Голодного вряд ли что-нибудь скажут по той причине, что стихи их в силу абсолютной бездарности забыты безвозвратно. А в тридцатые годы это были громкие имена. Не блестя в поэзии, они были воинствующими функционерами партийности в литературе. “Учитесь у Безыменского” - то и дело тыкали Павлу Васильеву в пример.

Васильева исключили из Союза писателей, и он, естественно, не был приглашен на I съезд писателей СССР. Безыменский с трибуны съезда громил поэзию Васильева как антисоветскую.

Джек Алтаузен был заведующим литературным отделом “Комсомольской правды” и, следовательно, именно он определял меру соответствия партийным установкам тех или иных произведений.

Дальше всех пошел М. Голодный. В 1936 году он опубликовал стихотворение, обрекающее Васильева на заклание. Вот оно полностью:

Бесят тебя большевистские речи.
Горька моя песня. Не под силу дела.
Сосут тебе ноги пески Семиречья,
В руках у Клычкова твои удила.
Я знаю: он снился тебе, забияка,
Повисший в петле над открытым окном.
Он шел - ты ползком пробираешься в драку,
Врагам улыбаясь скуластым лицом.
Не высоко же летит твое счастье.
Ты слаб головою для наших высот.
Я много видел разбившихся насмерть,
С чужой высоты начинавших полет.
Им век, как цыплятам, откручивал шеи.
Трещали, как хвост сухой, позвонки.
Они к нам в ночи бросались, бледнея,
От слова простого - "большевики".
Ох, поздно ж, пташечка, ты запела.
Что мы порешили - не перерешить.
Смотри, как бы кошка тебя не съела,
Смотри, как бы нам тебя не придушить.
Будешь, лежать ты, покрытый пылью,
Рукой прикрывая свой хитрый глаз.
Таков закон у нас, Павел Васильев,
Кто не с нами, тот против нас.

Поставьте себя на место человека, к которому адресуются с такими угрозами - какие возникнут у вас чувства к автору этих живодерских стихов независимо от того, какой он национальности?

"Антисемит" Павел Васильев дружил с Осипом Мандельштамом, Михаилом Светловым,

Иосифом Уткиным, Леонидом Заславским, преклонялся перед Борисом Пастернаком. Теплые воспоминания оставил о Васильеве Донат Мечик (артист, режиссер, отец прекрасного писателя Сергея Довлатова). Кстати, есть в этих воспоминаниях такой эпизод. После некоторого перерыва со времени их знакомства во Владивостоке, друзья случайно встретились в Москве, куда Донат Мечик приехал ненадолго. Побродили по улицам, о многом вспомнили и расстались. Ложась спать, Донат обнаружил в кармане пиджака три червонца. Спустя десятилетия, он не забыл с благодарностью вспомнить об этом. Из Америки в фонд Дома-музея пришел от него перевод на сумму в сто долларов.

“Павел Васильев, каким его не знали”, - так назвал свою книгу Евгений Туманский, близко знавший Васильева в молодые годы. Михаил Светлов говорил о Васильеве: “Талантище”. Иосиф Уткин называл его “Лермонтовым наших дней”. Высочайшую оценку поэзии Васильева дал Борис Пастернак.

История рассудила не в пользу идейных и литературных недругов Васильева. Но было бы несправедливо задним числом вычеркивать их имена из советской поэзии. Не бездарью были М. Голодный, Д. Алтаузен, Н. Асеев, тот же А. Безыменский. Некоторые стихи М. Голодного, положенные на музыку (“Песня о Щорсе”, “Партизан Железняк”), были в свое время популярными песнями. Не отказать им и в искренности веры во всепобеждающие идеи социализма и

мировой революции, Д. Алтаузен в 1941 году добровольцем пошел на фронт и погиб в бою под Харьковом.

Трагична судьба Павла Васильева, убитого режимом, видевшем в поэте врага. Но именно потому, что он писал “наперекор незрячим, глухим”, поэзия его востребована потомками. По-другому, но тоже трагична судьба поэтов, преданно служивших режиму, правда о котором теперь настолько известна, что обрекла на забвение его воспевателей независимо от меры их талантливости.

Приписывать Васильеву антисемитизм на основании его неприязненных отношений с Безыменским, Алтаузеном, Голодным так же безосновательно, как объявить его русофобом, исходя из того, что он скандалил со своим однофамильцем Сергеем Васильевым, давал резко отрицательные отзывы о поэзии Суркова, Жарова и других.

Васильев был в такой же степени антисемитом, как фашистом и террористом. Право на антисемитизм режим оставлял за собой. Это позволяло ему перманентно одних преследовать за антисемитизм - лишний повод для репрессий, и время от времени отстреливать евреев уже как сионистов. Кровавая эта игра растянулась на десятилетия. В наши дни одни историки подсчитывают, сколько евреев в тридцатые годы работало в органах НКВД, другие - сколько евреев поглотил ГУЛАГ.

Односторонность здесь к истине не приведет. Не еврея, русского, казаха, грузина и т.д. сажали

в тюрьмы, пытали и расстреливали, не русские, казахи, грузины совершили то же самое по отношению к евреям; зубья адской машины, запущенной вождем, кромсали тех, других, третьих, десятых без разбора и с одинаковой неумолимостью.

Пора раз и навсегда избавить Павла Васильева от ярлыка антисемита, ибо до тех пор, пока по недомыслию он мечен им, снова и снова возбуждается и недоброжелательство к евреям. Русофобия ли, антисемитизм ли, как и проявления уничижительного отношения к любой национальности, произрастают из одного поганого корня.

КАКИМ ОН БЫЛ?

У Павла Васильева была шумная и скандальная слава. Вокруг неординарной личности поэта клубилось столько сплетен, которые раздувались и тиражировались его недругами, что непросто разобраться, где правда, где клевета. Сам поэт в немалой степени способствовал созданию мифов о себе не только нежеланием и неумением приспосабливаться к обстановке, быть терпеливым и деликатным, но и склонностью “выдумывать” себя. Е. Усиевич по этому поводу заметила: “У него было много биографий, он их придумывал сам и всякий раз рассказывал новую”. Васильев “не был ангелом, - вспоминает С. Поделков, - но если клевещут и травят, разве можно быть им?”. Теневые стороны жизни поэта не стоит скрывать, но не следует их и преувеличивать.

Сибирская “одиссея” юного Васильева дала ему запас жизненных впечатлений, он взмужал, окончательно определился в своем призвании. Но бездомность, общение с людьми авантюрного склада, ранняя слава имели и свои минусы.

Ю. Русакова, вдумчивый исследователь жизни и творчества поэта, верно подметила, что он был “младше своего таланта”. Мальчишество еще

выпирало из него, а он хотел казаться взрослее, чем был.

В письме Галине Анучиной сам он так живописует свое времяпрепровождение с приятелями в один из его приездов в Омск в 1930 году: “*После твоего отъезда я порядочно пил в “Аквариуме” и других злачных местах. Сопутствовала мне, конечно, “Омская сборная”, в которой наряду с такими “громкими” именами, как Забелин, были и более скромные, как например Казаков и некто Куксов... У него, понимаешь, есть стихи, в которых буквально говорится “... хохочи и безумствуй, поэт над зеленою тоской алкоголя”. Вот умора!*”

А несколькими строками ниже, даже некую философскую базу подводит под это прожигание жизни: “*Галинка, ведь ты же должна понять, что в Омске страшно скучно... Строго придерживаясь правды, нужно сказать, что везде одинаково скучно. Вариации скучи... Безразлично играть на этом свете фарс, трагедию, драму, все равно кончиши таким скучным гробом, что у тебя волосы дыбом встанут. Тривиальный бездарный конец*”.

Наверное, есть у молодости свои права на безумства. Блажен, кто смолоду был молод, сказал другой поэт, тоже не чуждый молодечества, повеса и дуэлянт. Ничего не выдумал Лев Толстой, рассказывая об одной из проделок подгулявшей молодежи с участием интеллектуала и добряка Пьера Безухова, заключавшейся в том, что квартального надзирателя и медведя привязали спина с спиной и пустили в Мойку. Медведь плавал, а квартальный на нем...

Так что “Омская сборная” в известном смысле вписывалась в российские традиции. Впрочем, только ли российские? Вспомним, как вспомнились немецкие бурши...

В неменьшей мере традиционен и беспорядочный, вне обывательской морали образ жизни так называемой богемы, всюду и всегда образующей вольные общества со своим неписанным уставом. Нельзя, очевидно, сбрасывать со счета и то, что гениальность нередко неотделима от определенных аномалий в психическом складе. Столь не-похожие друг на друга Есенин, Васильев, Высоцкий вне этой среды, наверное, и не могли существовать. И с этим ничего нельзя поделать, да и делать не надо.

О Павле Васильеве в свое время ходила такая молва: будто вместе с Николаем Титовым учинили они скандал в одном из ресторанов, Павла схватил милиционер и потащил к выходу, а он все голову назад поворачивает и кричит Титову: “Колька, ты добей там кактусы, а то я не все успел расколотить!”...

Кто теперь скажет, был ли это или чей-то злой вымысел? Кстати, и сам Павел мог про себя такое сочинить, чтобы прибавить себе скандального шарма, как и в том случае, когда выдавал себя за сына казачьего есаула. А время на долю Васильева выпало такое, что недобрые глаза в его колобродстве видели не буйство молодости, а вылазки классового врага.

Из Сибири шлейф скандальной славы потянулся за ним в Москву. А в Москве... Е. Перми-

тин в книге “Поэма о лесах” дает такое описание “литературного кабачка”, в котором, конечно, бывал и Васильев.

“С утра до глубокой ночи толпились беспокойные, всегда возбужденные поэты, критики, начинающие прозаики. Примелькались, наскучили читки с взаимными похвалами “горяченьких”, только что из-под машинки стихов, пьяные выкрики на весь кабак о своей гениальности, вечная толчая за залитыми пивом столиками, в коридорах и даже в маленьком садике Дома Герцена.

В большинстве это были совсем еще молодые люди, не владеющие мечом, но уже рубившие им со всего плеча:

- Ну что такое Алексей Толстой?
- Шолохов? Областник!
- Ценский - графоман!
- Шишкин - просто фотограф. Вот Пикассо!”

“Павел Васильев, - вспоминала Е. Вялова-Васильева, - легко наживал себе врагов..; непосредственность, открытость, горячность его натуры не могли ужиться с отрицательными сторонами бытовавшей тогда групповщины, с ее подсидживаниями, демагогией и т.п. Скандалы и даже “хулиганство”, о которых стали поговаривать, были пусть слепым, во многом неправомерным, но все же протестом против той литературной среды, в которой он оказался. Слухи раздували, выдумывали невероятные подробности”.

“... В Васильеве под тонкой оболочкой бурлили различные страсти, было нечто трагическое в

его проказах и вспышках, - вспоминала Галина Серебрякова. - Трудный это был человек и для самого себя и для окружающих. Держался он почти всегда ершисто. Но за этой грубостью я вскоре усмотрела своего рода "защитную функцию".

Михаил Скуратов случайно оказался свидетелем скандала, устроенного в клубе писателей Васильевым. Несмотря на запрет он явился в клуб с девушкой и уселся с ней за столик, за которым в величавом уединении сидел сам А. Эфрос, известный тогда литературовед, холеный, породистый интеллигент.

Но предоставим слово самому М. Скуратову: "... У Абрама Эфроса начинают топорщиться усы. Он опускает вилку, перестает есть. Затем раздельно выцеживает, не теряя величавости:

- Павел Васильев, ведь вы же знаете, что вам на полгода запрещено посещать наш Клуб московских писателей! Как вы изволили ослушаться? Вспомните, что о Вас писал Максим Горький. И затем, не спрашивая позволения, вы усаживаетесь за мой стол.

Павел Васильев с непобедимой улыбкой, прищурясь, оглядывает своего противника, и - я уж чувствую - готовится к словесному бою. За словом в карман он не лазил.

- А по какому праву, сударь, вы мне делаете выговор, и по какому праву вы называете этот столик "мой", когда он свободен? Вы что - купили его? - кривит он губы так, как умел только он один, ощерясь всеми своими молодыми зубами чисто по-рысьи.

- Павел Васильев, во-первых, я вам не сударь; во-вторых, вы опять принимаетесь за озорство, за свои дикие непозволительные выходки? Я вас прошу покинуть добром этот зал, иначе я вызову милиционера и кого надо, и вас выведут за руки. Под локотки. Вот так! Я требую...

- Меня?! Под локотки! - раскатисто, басовито рычит Павел Васильев так, что раздается громовое эхо голоса по всему высокому залу.

Тогда наконец выходит из себя и Абрам Эфрос, он кричит:

- Я - член правления Клуба писателей! Да! И требую немедленно покинуть зал. Слышите, требую...

В ответ Павел Васильев величественно повел рукой и, отрезая все мосты к отступлению, прогремел:

- Вы требуете?! А я - Павел Васильев! О вас же сказано еще в энциклопедии - Брокгауз и Ефрон... Одним словом - "в белом венчике из роз впереди Абрам Эфрос!.."

Встал - и торжественно сам пошел к выходу, волоча за собой бедную девицу, не дожидаясь, чтобы его вывели за руки. Но в вестибюле заупрямился... А директором Клуба была тогда Чеботаревская (не знаю ее имени-отчества) - невысокая собою, но очень мужеподобная... Суровым голосом, спокойно, но твердо она сказала:

- Товарищ! Павел Васильев, прошу вас, немедленно покиньте Клуб писателей. Вы слышите меня?

Тогда он посмотрел на нее сверху вниз - и спросил:

- Кто такая?

Настал черед Чеботаревской терять свое невозмутимое спокойствие и мужеподобная женщина вне себя вскрикнула:

- Не забывайтесь! Вы отлично знаете: я директор клуба!

Павел Васильев опять также величественно взмахнул рукой в ее сторону - и пробасил раздельно, по слогам:

- Рас-счи-тать!"

В общем, озорничал-таки Васильев. Бывал несдержан, мог, как мы знаем, и оплеуху влепить обидчику. Его недоброжелатели смаковали каждую его выходку и, как водится, присочиняли всякие небылицы.

По Москве ходили такие рассказы: там мраморный умывальник выбросил из окна; из одной квартиры вместе с таким же беспутным приятелем рояль чуть не на головы прохожих выкинули. Никому и в голову не приходило, что для такого "подвига" по меньшей мере бригада грузчиков нужна была!

Совсем другим предстает Васильев в воспоминаниях близко знавших и ценивших его как поэта.

И. Гронский запомнил его таким.

"Это был выше среднего роста, хорошо одетый молодой человек. Держался он просто, скромно, непринужденно. В нем все было ладно, прочечно, все привлекало: и открытое, мужественное,

скуластое лицо, и умные, немного раскосые, зеленоватые проницательные глаза, и густая копна русых волос на голове.

... Было бы величайшей глупостью скрывать пристрастие Павла к дружеской пирушке, веселой, искрящейся застольной беседе, сопровождаемой чтением стихов, остроумными экспромтами, большим мастером которых он был. Иногда Васильев хватал через край. Таких случаев, к счастью, было немного, но разговоры они вызывали большие. Это понятно. Васильев - большой поэт. Имя его гремело. Поэтому естественно, что все его похождения немедленно становились предметом разговоров, сплетен, шушукаńья околовлитературных кумушек".

Галина Серебрякова с писательской зоркостью заметила в Васильеве "гармонично правильные, юношески чистые, строгие черты лица и темно-серые, слегка запавшие, яркие глаза с неожиданно озорным, жестким, недоверчивым и недобрым выражением, так смотрят на мир беспризорные дети".

Не скрывая своего любования Васильевым, рисует его портрет писатель Сергей Островой:

"... Это был необыкновенно красивый молодой человек, тонкий в поясе, статный, стройный, высоколобый, синеглазый, с выющимися волосами, с прекрасным голосом... Читал он великолепно. Голос у него был низкий, сочный..."

Это был человек кремневой сибирской породы. И все-таки, несмотря ни на что, он был жизнелюбив. Смеялся необыкновенно заразительно.

Любил озорничать. Вот часто говорили, что он хулиганил. Почему? Его распирало буйство силы. Он любил озорничать!"

Лев Озеров писал: "Красив, статен, подвижен. Волнистые, темно-светлые (не подберу слова) волосы зачесаны вверх. Глаза ярые, поначалу кажутся шалыми, диковатыми, а потом - детскими, даже растерянными. Взрывы заразительного смеха, хохоток и хохот, природная веселость. Во взгляде сперва заметна лихость, потом грусть, может быть, и отчаянье, скорее решимость... Ноздри точеные, яблочная косточка; подвижные. По скулам сновали неприметные молнии. Что они означали? Горд, самолюбив - а как же иначе. Характер".

"... пересмешник и философ, бродяга-выдумщик, изумительный устный рассказчик, какого только поискать на белом свете, - с любовью рассказывал о Павле Васильеве Михаил Скуратов. - Был он удал и красив широкой русской красотой, юношески еще свеж, каштановые (а не русые!) волосы вились роскошной волной, завидная густая шапка вздымалась над его чистым, высоким лбом. Такого белого лба, как у него, я ни у кого не видел!.."

Все, кто близко знал Васильева, отмечают его огромную работоспособность. И. Гронский писал, что поэт "работал до изнеможения". По его же свидетельству Павел много читал и хорошо запоминал прочитанное. В разговорах нередко удивлял собеседников своими познаниями в истории, литературе, архитектуре.

Елена Вялова - Васильева вспоминала:

“За всю нашу совместную жизнь мне никогда не приходилось видеть ничем не занятого, праздного Павла. Если он не писал, то в руках его была какая-нибудь книга или рукопись... Комната была завалена газетами и журналами”.

Когда И.М. Гронский, ответственный редактор газеты “Известия” пригласил Павла Васильева к себе и попытался выяснить его отношение к литературе и писателям, он обнаружил и широкие знания прошлой и настоящей поэзии, и глубоко народное по своему существу понимание предназначения искусства. На вопрос, “кого из поэтов он больше всего любит”, он назвал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Демьяна Бедного, Маяковского, Есенина. Но поэт должен знать творчество не только корифеев, но и всех без исключения собратьев по перу, добавил Павел. Имена этих поэтов часто возникают в его стихотворениях и поэмах.

Нельзя не учитывать еще одного немаловажного обстоятельства. С шестнадцати лет он ведет по сути дела скитальческую жизнь, не имея ни квартиры, ни письменного стола. Убогие гостилицы, угол у знакомых, сеновал, вокзал, где только не приходилось ему ютиться.

В Москве временное пристанище его было в общежитии на Гальяновке, где в общем зале впритык друг к другу стояло две стояли две деревянных топчанов.

Лишь в последние годы три у него были сносные условия на квартире Вяловой, где он проживал без прописки.

Если добавить к этой вечной бытовой неустроенности бесчисленные проработки на разного рода собраниях, в печати, “жандармов любезности”, отказы в публикациях произведений, изданий сборников, можно только подивиться силе его характера и творческой молни. В период самой оголтелой травли (1934-1936 годы) Васильев создает поэмы “Автобиографические главы”, “Христолюбовские ситцы”, “Кулаки”, “Жених”, “Принц Фома”, замечательные лирические стихотворения “Анастасия”, “Стихи в честь Натали” и множество других.

Действительно “кремневой породы” человеком надо было быть, чтобы не только устоять, но и так интенсивно и плодотворно творчески работать. Вряд ли это оказалось бы по силам забулдыге, хулигану, дебоширу, чуть не уголовнику, каким изображали поэта его недруги. Несомненно, что Васильев не только сознавал свое предназначение, но и обладал достаточной внутренней организованностью, творческой самодисциплиной и культурой. А созданное им дорисовывает облик человека огромной духовности. Жаль только, что не умел он равнодушно принимать хвалу и клевету и слишком часто оспаривал глупцов. Впрочем, “африканец”, давший этот завет, “тоже бушевал при жизни”. На то и поэты оба были!..

ВЫСОТА

Современники поэта не могли оценить меру таланта Павла Васильева. Прежде всего в силу известного “лицом к лицу лица не увидать”. Занятые каждый собой, собственным тщеславием, вовлеченные в межгрупповые литературные распри многие из собратьев Васильева по ремеслу не хотели признавать его выше себя.

При жизни поэта отдельной книгой вышла только его поэма “Соляной бунт”. Из пяти сборников, подготовленных Васильевым к печати - “Песни”, “Ясак”, “Путь к Семиге”, “Книга стихов”, “Стихи”, ни один так и не увидел света. Не приходится говорить уже о том, что в двадцать шесть лет, на взлете, он был убит, а имя его вычеркнули из поэзии. Не могли знать современники и многого из написанного Васильевым - одни произведения поэт не успел завершить, другие не предлагались им в печать по причине их несоответствия идеологическим установкам.

Все страсти, которые при жизни Васильева кипели вокруг него, зацикливались на одном - антисоветский или советский он поэт, с преобладающим креном в сторону первого: несомненно антисоветский. Среди сторонников этой оценки некоторые разногласия возникали лишь в такой плоскости: стихийно или сознательно антисоветский?

Сегодня, когда нас меньше всего занимает вопрос о классовых позициях Васильева, когда издано все, что удалось разыскать из написанного им, мы можем объективно оценить его вклад в русскую поэзию, высоту поэтической планки, взятой им. Рано осознав свое предназначение “неуемной песней в этом мире новом прозвенеть”, поэт предъявлял себе самые высокие требования, неустанно стремился к совершенству. Он не поддался модному в тридцатые годы щегольству формалистическими новшествами, претендовавшими на создание революционного искусства, свободного от “устаревшего” наследия классиков.

Непросто было противостоять вульгарно социалистическим догмам, жестко регламентировавшим идеино-тематическое содержание советского искусства.

В незавершенной поэме “Большой город” (1933 год) поэт так сформулировал свое понимание вечно волнующей больших художников проблемы отношения искусства к действительности.

Пусть будет трижды мой расценщик прав,
Что нам теперь не до июньских трав
И что герою моему приличней
О тракторах припомнить в этот час...
Я полон уваженья к тракторам,
Они нас за волосы к свету тянут,
Как те овсы, что вслед за ними встанут,
Они теперь необходимы нам.
Я сам давно у трактора учусь
И, если надо, плугом прицеплюсь,
Чтоб лемеха стальными лебедями

Проплыли в черноземе наших дней,
Но гул машин и теплый храп коней
По-разному овладевают нами.
Пускай же сын мой будущий прочтет,
Что здесь, в стране машины и колхоза,
В стране войны - был птичий перелет,
В моей стране существовали грозы...

Как справедливо заметил классик, “жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”.

Поэзия Васильева - мучительные метания большого таланта в клетке социалистического реализма. Перед ним каждый раз возникала дилемма - как свою самобытность, поиск нехоженных путей, понимание своего высокого предназначения совместить с непререкаемыми идеологическими установками.

Сам он рассказал об этом в стихотворении-исповеди “Раненая песня”, написанном в 1933 году.

С первых его строк чувствуется, автор писал его в “стол”, так наболело, что невмоготу стало, и сами собой полились горькие и яростные строки.

...Ни за что, ни про что
Я на свете маюсь
Нет мне праздничных дней.
Так убегает по полю заяц
От летящих на лыжах
Плечистых парней.

С гордостью поэт заявляет, что ему “не надо в иртышскую воду прятать концы”.

Мы не отречемся от своих матерей,
Хотя бы нас
Садили на колья.
Я бы все пальцы выщеловал ей,
Спрятав свои слезы
В ее подоле.

Это было уже явным вызовом - поэт не собирается расставаться с проклятым прошлым. Но за этими строками следуют еще более кощунственные:

Нечего отметину искать на мне,
Больно вы гадаете гладко да ровно -
Может быть лучшего ребенка в стране
Носит в своем животе поповна?

Обращаясь к своим гонителям, Васильев грозится:

Что вы меня учите
Лизать сапоги,
Мой язык плохого
Прибавит глянцу.
Я буйн смиренный - бить не моги,
Брошу все, уйду в разбой, в оборванцы,
Устрою кулацкий разгром,
Подожгу поэмы,
Стихи разбазарю,
И там, где стоял восьмистенний дом,
Будет только ветер, замешанный гарью...

С полным сознанием своей правоты он спрашивает:

Кому же надобен мой разор,
Неужели не жалко хозяйства такого?
Что я лиходей, разбойник иль вор?
Я еще понадобней
Кого другого.

И, возвышая голос, прямо адресуется к своим недругам:

Что вы особачились на песнь мою,
Песни - мои сестры, а сказы - братья...
Кутайтесь в бобровых своих поэмах,
Мы еще посмотрим на вас в бою,
Поддержат солдаты с звездою на шлемах
Раненую песню мою.

Это стихотворение - крик отчаянья, задушенный собственной рукой, ибо и помыслить нельзя было о том, чтобы крик этот услышали те, кому он был адресован.

Стихотворение осталось незавершенным, а свет увидело лишь десятилетия спустя. Воистину, рукописи не горят!

Поэма "Кулаки", написанная Васильевым в 1936 году, как он сам признавал в письме к Горькому, не удовлетворила его. Перечитывая ее сегодня, можно понять поэта. Очень хотелось ему после горьковской статьи, "письма двадцати", суда и лагеря реабилитировать себя, доказать свою "советскость". И сюжет поэмы на сто процентов был в духе социалистического реализма, выстро-

ен по канонам официальной оценки классовой борьбы в деревне в период коллективизации. Кулак Ярков пытается спасти себя, выражает желание передать все свое богатство организовывающемуся колхозу.

Утром возле колодца бабы разговаривали:
Али это правда, али марево ли.
Евстигней Палыч вчерась выступал за власть.
И этак серьезно: “Долю свою
Без остатка вам, говорит, отдаю”.
Мужики-то удерживают его,
А он все больше насчет своего:
“Отдаю, говорит, народу и то, и се”.
Отдает, сказать, без малого все.
Юдинская невестка поправила рваные шали:
“Как же, постиг. Отдает, покудова не отобрали...
Хитрый Евстигней Палыч мужик”.
Анфиса Потанина поставила ведра,
Белужьи руки воткнула в бока,
Широкой волной раскачала бедра:
“А твой кто таков? А ты кто така?”
Юдина невестка белым-бела,
Руки с коромыслом переплела:
Бровью застреляла: “Мой кто таков?
Мой покудова не держал батраков,
У мово покудова на крыше солома,
Мой покудова не выстроил пятистенного дома,
Моему покудова попы не приятели,
От мово родные дочери не брюхатели...”

- А Александр Иванович ему: “Не возьмем:
На наших, говорят, ты загривках строил дом,
Нашей, говорит, кровью коней поил,
Из наших, говорит, костей наделал удил.
Не надо нам в колхоз кулацкого лисья.
Раскулачим, говорит, тебя, Ярков, и вся”.

И далее сюжет развивается по классической для советской литературы тех лет схеме: “подкулачники” убивают вожака бедноты Александра Ивановича, бывшего красного партизана и “учительшу” Марью Ивановну.

Но именно эта затасканность сюжета, шаблонность коллизий, прямолинейность образов, наверное, и не удовлетворяла Васильева. И все же он решился предложить поэму в печать. Казалось, уж такой - то поэме - зеленая улица! Но и тут вышла у него осечка.

Редакция журнала “Октябрь” предложила ему основательно переработать поэму.

Читателю, не искушенному в тайнах работы с писателями в условиях советской цензуры, уместно напомнить фельетон Ильфа и Петрова. ...Издательство заказывает писателю советский приключенческий роман типа “Робинзона Крузо”. Писатель выстраивает сюжет: советское судно терпит кораблекрушение, один из моряков оказывается на необитаемом острове и начинается его “робинзониада”. В издательстве читают книгу и рекомендуют отразить... профсоюзную работу. Писатель вносит поправки: моряк и туземец (вариант Пятницы) складывают профсоюзные взносы в дупло. Издатель настаивает: профсоюзные деньги положено хранить в сейфе. Чудесным образом волны выбрасывают на берег вместе с обломками корабля и сейф. Кажется, все замечания учтены. Можно издавать книгу. Но не tutto было. Издатель требует, чтобы на острове велась работа... среди профсоюзной массы.

Может быть, сатирики слишком загустили краски? Пусть читатель рассудит сам, ознакомившись с документом о том, как работала с Васильевым редакция журнала “Октябрь”.

“Мы собрали поэтов, прочитали поэму, покритиковали по-настоящему и указали ему на недостатки, - писал редактор этого журнала, весьма посредственный и ныне забытый писатель Федор Гладков. - Через шесть месяцев он снова принес нам свою поэму. Мы не стали печатать, снова собрали поэтов, критиков, прочитали, указали ему на недостатки, отчаянно ругались с ним. Мы шли строчка за строчкой и показывали ему, в чем его беда. То, что Павел Васильев был человек с зерном врага, то, что в нем заложено много плохого, это мы знали, но он способный человек, талантливый и его надо вытащить”.

Благо хоть в таланте не отказали, а уж куда “тащили” его, нетрудно догадаться. Даже очень далекий от литературы человек поймет, каким насилием над поэтом были подобные коллективные проработки. Табуретку не сколотить при таком скопище указчиков... Но вернемся к самой поэме. Какое зерно врага усмотрела редакция на сей раз?

Виноват автор оказался в том, в чем уже не раз его обличали: образы врагов у него колоритны и ярки, а положительные герои бледны, схематичны. И для такого обвинения оснований было предостаточно. Не смог Васильев “органически переделать себя”.

Кулаки действительно выписаны с присущей ему “кустодиевской образностью”.

У Евстигнея Павловича Яркова
Сыновья - ладны и умелы -
Дверь с крюков
Посшибают лбом,
Сразу видимо, кто их делал, -
Кулаки - полпуда в любом.

Род прекраснейший, знаменитый -
Сыновья! Сыны! -
Я те дам! -
Бровь спокойная, волос витый -
Сразу видно,
Что делал сам.

Евстигней поведет ли ухом,
Замолчит ли -
Все замолчат,
Даже дышат единым духом -
От старухи и до внучат.

И хозяин думой не сломан,
Слышит лучше всех и ясней -
По курятникам робкий гомон,
В теплых стойлах ржанье коней.

Приросло покрепче иного
К пуповине его добро,
И ударить жердью корову -
Евстигнею сломишь ребро.
Он их сам - лошадей - треножил,
Их от крепких его оград
Не отымет и сила божья,
А не то чтобы конокрад.
Он их сам - коров - переметил
И ножом,
И клеймом,
И всяк,
Никакая сила на свете
Не отымет его косяк.

Никакая на свете пакость,
Ну-ка, выйди, не оробей!
Хошь мизинец,
Хошь телку -
На-кось -
Отруби, отмерь и отбей.

Ну-ка, сунься к амбарам сытым -
Все хозяйство, вся тишь и гладь
Опрокинет вострым копытом
И рогами начнет бодать.

А разговоры какие ведут меж собой эти “мироеды”:

- Брат мой старший,
- Да, брат Василий.
- Во- первых, сообщаю я.
Что -
В соседственном нам Лебяжьем
Вам известный Рябых Семен,
Состоятельный парень, скажем,
Властью выжит и разорен.
И нам видимы те причины,
За которыми шла беда, -
Не оставлено и лучины,
Гибель, скажем, и только.
- Н-да.
- Досеменился,
Вот-те здравствуй.
Как известно, защиты нет,
И напрасно на самоуправство
Он ходатайствовал в райсовет.
Сеют гибель по всей округе,
Отбирают коров, коней.
Затянули, паря, подпруги.
Как рассудишь, брат Евстигней?

Босяки удила закусили.
Евстигней раскрывает рот:
- Что тут сделаешь,
Брат Василий,
Как рассудишь -
Колхоз идет.

- Что ж колхоз,
А в колхозе - толку?
Кони - кости и гибкий дых,
Посшибали лошажки холки,
Скот сгубили, разъязви их!

Разгнездилися на провале -
- Ты работай - а власть права,
Тот работал, а эти взяли,
Тоже, язви, хозяева.
Мимо сена,
И с ходу в воду.
Нет копыт, не то чтобы грив.
Объявили колхоз народу,
А народ кругом супротив.
Не надейся, паря, на жалость,
Да тебе самому видней.
Что же делать теперь осталось?
Как рассудишь,
Брат Евстигней?

Там,
В известном вам Енисейском
Взяли Голубева в оборот,
Раскулачили и с семейством -
Вниз, под Тару, в гущу болот.
И не легкое, слышишь, паря,
И не ладное дело, брат:
На баржах - для охраны - в Таре
Пулеметы, паря, стоят.

Не открутишься, как возьмутся -
Выбьют говор и гомон наш.
Наша жизнь - что чаинка в блюдце,
Все отдашь.
- Ты, значит, пугашь?

Все, что есть в поэме в “пользу коллективизации” меркнет, превращается в пустой довесок в сравнении с этими образами, с этими диалогами. Так и была прочтена поэма в “Октябре”, потому и “осабчились” на нее.

С некоторыми купюрами поэму все же опубликовал “Новый мир”, что впоследствии “зачтется” И. Гронскому как покровительство отъявленному врагу народа.

Совсем иначе воспринимается поэма в наше время. Если верно утверждение философов, что история развивается по спирали, то Евстигней Ярков на нынешнем ее витке может служить идеальным образом того фермера, которого так долго и трудно пытаются возродить.

Последняя поэма Васильева “Христолюбовские ситцы” - одна из попыток Васильева “наступить на горло собственной песне”, стать в один строй с певцами социалистических буден. Содержание ее незамысловато: художник Христолюбов, творивший по вдохновению, под влиянием бесед с парторгом текстильного комбината и знакомства с жизнью передового колхоза постигает, что истинное назначение художника - в прославлении “победного рокота века”, партии, “равной которой нет и не будет”.

Это самая неудачная поэма. Она, чувствуется, вымучена поэтом, стих вял, невыразителен, диалоги пусты. Не смог Васильев заставить себя петь не своим голосом!

Разительно отличается от поэмы стихотворение “Песня о том, что стало с тремя сыновьями Евстигнея Ильича на Беломорстрое”, написанное примерно в то же время. “Песнь” без всякой натяжки можно считать настоящим эпилогом к поэме “Кулаки”. При жизни поэта стихотворение не печаталось и чудом сохранилось.

Его стоит привести полностью.

Первый сын не смирился, не выждал
Ни жены, ни дворов, ни коров -
Осенил он себя крестом трижды
И припомнил родительский кров.
Бога ради и памяти ради,
Проклиная на веки ее,
Он петлю себе тонкую сладил
И окончил свое житие.
Сын второй изошел на работе
Под моряны немыслимый вой -
На злосчастном песке, болоте
Он погиб, как боец рядовой.
Затряслася лихоманка детину,
Только умер он все ж не врагом -
Хоронили кулацкого сына,
И чекисты стояли кругом.
Ну, а третьему - воля, и сила,
И бригадные песни легки, -
Переходное знамя ходило
В леву руку из правой руки.

Бригадиром вперед, не горюя,
Вплоть до Балтики шел впереди,
И за это награду большую
Он унес с собой в жизнь на груди.
Заревет Евстигнешке на горе
Сивых волн непутевый народ,
И от самого Белого моря
До Балтийского моря пройдет.
И он шел, не тоскуя, не споря,
Сквозь глухую медвежью страну.
Неспокойное Белое море
Подъяремную катит волну.
И на Балтике песня найдется,
И матросские ленты легки,
Смотрят крейсеры и миноносцы
На Архангел из-под руки.
С горевыми морянами в ссоре,
Весть услышав о новом пути,
Ходит посвистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.

Это воистину реквием. Тут в каждой строке
vasильевский слог, его душа, его плач по загуб-
ленным сынам России.

Заметим, что это стихотворение написано по-
чи в одно и то же время, когда вышла в свет
позорная, “чудовищно лгущая”, по определению
В. Солоухина, книга “Беломорско-Балтийский
канал имени Сталина” - коллективный труд трид-
цати шести поэтов и писателей (Шкловский, В.
Иванов, Инбер, Катаев, Зощенко, Лапин, Хиц-
ревин, Л. Никулин, Зелинский, Ясенский, Габ-
рилович, Тихонов, А. Толстой и др.) под редак-
цией М. Горького, А. Авербаха, С. Фирина.

Захлебываясь от восторга, авторы прославляли подневольный каторжный труд как великое дело перековки “человеческого сырья” на социалистический лад.

Павел Васильев, едва вышедший из юношеской поры, оказался неизмеримо выше маститых и знаменитых, не сочтя возможным присоединить свой голос к хору аллилуйщиков.

Поэтика Васильева несет на себе печать такой самобытности, что его стихи “узнаются” по нескольким строчкам. Он свободно владеет всеми стихотворными размерами от ямба до гекзаметра, но большая часть его стихов имеет совершенно своеобразный рисунок, неповторимую архитектонику, свою тональность. Они не оставляют равнодушными при чтении про себя, а вслух производят еще более сильное впечатление. Все, кому доводилось слышать их в исполнении самого поэта, единодушно свидетельствуют, что он буквально завораживал аудиторию. У него был прекрасный голос, читал он мастерски. Но секрет такого воздействия, по-видимому, и в энергии его стихов.

Слово в каждом языке, помимо смысловой нагрузки, имеет и эмоциональную окраску, звукопись, что и рождает ту магию поэзии, о которой блестательно сказал Лермонтов:

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Живая прелесть в них.

Васильевский стих, по образному определению В. Цыбина, “стихийно-вечевой”, у него не дневник, как у Анны Ахматовой, “он принародно выкрикивает все о себе - о любви и ненависти, восхищаясь и проклиная”. Ему присуща та “лирическая дерзость”, без которой, как считает Лев Толстой, не может быть великого поэта.

Этим не исчерпывается “магия” васильевского стиха.

Природа в его изображении не нечто существующее само по себе, безотносительно к человеку, она соучастует в его радостях и бедах. “Сначала пробежал осинник, потом дубы пошли”, “статный дуб сорвался с места и до рассвета проплясал”, “От ветра целый мир в поклонах”, “Дождь на травах обоженных копытами затанцевал”, “закат спокоен”, “дым веселый”, - вот она какая, когда оборачивается к человеку светлой своей стороной. Но она же бывает слепой и жестокой: солнце становится “незрячим”, пыль “безглазой”, мороз “тусклым, смертным”, пена листьев “злой”, закат “окравленным”, ветер “тяжелым”.

Природа очеловечивается им: “шатаются пьяные тополя”, пни “сидят у берега подпершись”, “сады поют”, “течение пугливое”, пароход покачивается на “дородных” волнах, весна идет бродом через речонки, “распустив волоса”, “степь на цыпочках приподнялась, нюхает закат каждым цветком”, буран “пошел в бега”, “Расстелив солончаковую кошму кривоплечие камни совер-

шают намаз”, “цветы уставившись в небо, вытянув губы, ждут дождя”, “по чашам урча бушует кумыс, степною травою пьян” и т.д.

Из многих восторженных оценок, данных ошеломляющей образности стихов Васильева почитателями его таланта, приведем здесь лишь несколько.

А. Михайлов: “Мастерство живописной детали у Васильева, пожалуй, не имеет себе равных в поэзии тридцатых годов”.

Е. Пермитин: “Каждая строка воплощалась в неповторимый кустодиевский образ”.

А. Кончаловский: “Образы им созданы такие, что в темноте светятся”.

Коротко еще об одной грани художественного строя васильевской поэзии - ее близости к русскому сибирско-казачьему народному слову и устному творчеству казахов, которые он впитывал с детства. Здесь первая скрипка принадлежала деду Корниле, навсегда оставшемуся в памяти поэта.

Корнила Ильич, ты мне сказки баял...
Ножовый цвет бархата, незабудки,
Да в темную сырь смоляной запал, -
Ходил ты к реке и играл на дудке,
А я подсвистывал да подпевал.

Васильев не написал собственно сказок, но вся его поэзия пронизана сказочными образами. Они присутствуют в его стихах о природе, о любви.

Не мне ли на слова твои простые
Отыскан будет отзвук дорогой?
Так в сказках наших в воды колдовские
Ныряет гусь за золотой серьгой,
Мой голос чист, он по тебе томится
И для тебя окидывает высь
Взмахни руками, обернись синицей
И щучьим повелением явись!..

Подобных строк в стихах Васильева россыпи.
Более полное отражение фольклорные мотивы
нашли в его поэмах.

Уже само начало “Песни о гибели казачьего
войска” - заявка на “сказ”.

Что же ты, песня моя,
Молчишь?
Что же ты, сказка моя,
Молчишь?..
Там четыре месяца
В небе куролесятся,
В тумане над речкою
Ходит Цыг с уздечкою...
Что ж тут делать, плач не плачь,
Ось к хвосту привязана,
Не испит в ковше первач,
Сказка не досказана.

А там и целая главка о черте, заседлавшем
вьюгу. Он, черт этот, родной брат беса, посрамленного балдой. Изловили его красноармейцы,

Завязали черта
Они в мешок,
Затянули накрепко
Ремешок,

Перешли, протопали
Наискось степь,
Приходят в деревню
И - на цепь...

Новая колхозная жизнь находит отражение в частушках:

На своем коне посадкой
Ты меня не удивишь,
Мне теперь увидеть сладко,
Что на тракторе сидишь.

Главы “Свадьба”, “Плакальщицы” в “Соляном бунте” так густо замешаны на обрядовых песнях и плачах, что голос поэта звучит в полный унисон, переплетается с ними на нотах торжества и горести.

Ранее мы уже говорили о тонком проникновении поэта в эмоционально-образную систему казахского фольклора, обогатившем его палитру, позволившем ввести в поэтический оборот новые образы, увидеть мир глазами степняка-кочевника. Не будет преувеличением сказать, что тем самым поэт заметно расширил этнографический кругозор русскоязычного читателя.

Никого не повторяющий Павел Васильев тем не менее в своем творчестве опирался на опыт классической поэзии, не мог в какой-то мере не испытать и влияния Есенина, Маяковского, Клюева, Клычкова и других советских поэтов. Во всей полноте исследование таких взаимосвязей выходит за рамки настоящей книги.

Коснемся хотя бы пунктирно лишь темы Пушкин-Васильев, тем более, что книга выходит в год 200-летия величайшего русского поэта.

Алексей Толстой как-то сказал, что Павел Васильев - советский Пушкин.

Предвижу возражения: непозволительно равнять Пушкина с кем бы то ни было. Равнять, согласен, негоже. Как несостоительны вообще расхожие мнения о том или ином поэте или писателе типа: "Это новый Пушкин", "Это Есенин наших дней" и т.п.

Павел Васильев при всей самобытности и яркости его поэтического гения величина другого порядка, чем Пушкин, но величина, безусловно, самодостаточная, для того, чтобы претендовать на свое место в истории. И это при том, что судьба отмерила ему жить всего двадцать шесть лет. В этом возрасте сам Пушкин еще не успел выказать все грани своего гения.

В 1826 году он попрощался со своей юностью.

Так полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть, простимся дружно,
О юность легкая моя!..
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь...

У Павла Васильева не было столь светлой и легкой юности, она прошла у него в скитальчестве, бездомности, травле, на тюремных нарах. Полдень жизни стал и ее закатом, в "новый путь" ему не суждено было пуститься.

У Пушкина впереди были еще завершение работы над “Евгением Онегиным”, “Борисом Годуновым”, поэмы “Полтава”, “Медный всадник”, “Граф Нулин”, “Домик в Коломне”, все сказки, вся проза, маленькие трагедии и множество лирических и философских миниатюр.

В двадцать шесть лет Васильев, как и Пушкин, был вполне состоявшимся поэтом, бесспорно звездой первой величины в советской поэзии тридцатых годов. Что можно было ожидать от него, проживи он еще хотя бы десять лет?

Вот первое, в чем можно сопоставить Пушкина и Васильева. И сопоставление это не унижает Пушкина.

В восемнадцать лет он пишет стихотворение “Пушкин”.

Оставим в стороне художественные достоинства стихотворения - слишком еще выпирает из него вычурная цветистость. Важнее для нас в данном случае то, что почти сто лет спустя после трагической дуэли юношу-поэта терзает боль утраты. Автор пытается постичь, о чем думал Пушкин, когда “санки вкось” несли его на Черную речку - “нельзя ли поскорей”, когда жгла его ладонь рукоятка длинного пистолета, под неотвратимый отсчет: “Раз!.. Два!.. Три!..” перед роковым выстрелом Дантеса.

При всей несходности Пушкина, унаследовавшего толику африканской крови, и Васильева, в генах которого была сибирско-казачья закваска, без натяжки можно обнаружить и родство их натур, прежде всего в их бунтарстве и непокорстве.

“Главный пафос всей поэзии Пушкина, - писал А. Твардовский, - и сама его жизненная судьба и трагическая гибель - образец мужественной непокорности, утверждение высокого достоинства человеческой личности. “Не токмо что царю, ниже самому господу богу холопом быть не хочу”, - повторял он - насмешливый атеист и свободолюбец - этот гордый ломоносовский девиз”. Разве нельзя это определение отнести и к Васильеву - “По указке петь не буду”, “Мы не отречемся от своих матерей, хотя бы нас садили на колья”, дерзнувшего самого вождя назвать “сукиным сыном”?

Оба были великие жизнелюбы. Девизом всей поэзии Пушкина может быть его же, ставшая крылатой строка: “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” Какозвучно ей васильевское: “Я говорю тебе жизнь: нипочем не разлюблю твои жесткие руки!”

Оба слишком выделялись на фоне лицедействующих и лизоблюдствующих, обоим суждены были пули убийц...

“Пушкинский след” в живой ткани васильевской поэзии присутствует настолько глубинно, что выявление его - задача много сложнее, чем простая констатация тех или иных биографических фактов.

Великий истолкователь поэзии Пушкина Белинский, говоря о том, что и сам Пушкин явился не на пустом месте, а творчески освоил опыт своих предшественников, так образно определил сложность такой задачи вообще:

“... кто может разложить химически воду, например, Волги, чтобы узнать в ней воды Оки и Камы? Приняв в себя столько рек, и больших и малых, Волга пышно катит собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать на одно из них, плывя по ее широкому раздолью”.

Любовь к Пушкину неизмеримо много дала Васильеву - умение слышать музыку слова, ритм строф. Его исключительная одаренность сказались в том, что период ученичества и подражания великим образцам (в том числе и Пушкину), у него не затянулся. В двадцать лет он уже был Павлом Васильевым с собственным поэтическим миром, своей стилистикой и образностью, и в последующие годы лишь набирал высоту. Поэзия Васильева - поэзия другой эпохи, иных сюжетов, новой лексики.

Любопытно в этом плане стихотворение “Сонет” (1929 г.). Начинается оно прямой цитатой из Пушкина.

“Суровый Данте не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал”.

Но уже следующие две строки с высот классики окунают читателя в реалии неустроенной бродячей жизни поэта:

А я брожу с сонетами по свету,
И мой ночлег - случайный сеновал.

В изысканной форме сонета далее речь идет о

хрустя и чавканье коров, петушином крике, истоптаных ботинках автора.

Великолепна в своей ироничности концовка:

Зане я здесь устроился, как граф!
И лишь боюсь, что на заре, прогнав,
Меня хозяин взбрызнет матершиной.

Это церковно-славянское “зане” в сочетании с матершиной, которой можно “взбрызнуть”, - не механическое смешение элементов, а сплав, как известно, рождающий новое качество. Васильев, идя от Пушкина, не перепевает его, пушкинское начало и васильевское развитие темы здесь воспринимается как содружество равных.

Павел Васильев в совершенстве владел всеми стихотворными размерами. Нередко пользуется поэт гекзаметром. В русской поэзии гекзаметр появился у В.К. Тредиаковского в XVIII веке. В начале XIX века этот стихотворный размер стал предметом споров и экспериментов и наибольшую выразительность и гибкость интонаций достиг у В.А. Жуковского. “Баловались” гекзаметром А. Дельвиг, А. Фет, но в целом со второй половины XIX века гекзаметр, как несвойственный русскому силлабо-тоническому стихосложению, вышел из употребления.

Во времена Пушкина гекзаметр еще был в ходу и не приходится удивляться тому, что и Пушкин временами прибегал к нему. Если для него это были даже всего лишь пробы пера, “пробы” эти вышли образцовыми.

Среди целого ряда пушкинских миниатюр, написанных гекзаметром, особняком стоит стихотворение “Труд”.

Миг вожделенный настал,
окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг совершив,
я стою, как поденщик ненужный,
Плату прияший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов седых?

Досконально знавший Пушкина Павел Васильев не мог не отметить для себя в его поэзии эти образцы торжественного, высокого стиля, и, когда ему потребовалось выразить свое понимание творчества, он берет на себя смелость продолжить Пушкина и ответить на поставленный им вопрос.

Мню я быть мастером,
затосковав о трудной работе,
Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег
и крушенье,
Лить жеребцов из бронзы гудящей,
с ноздрями как розы,
И быков, у которых вздыхают острые ребра.
Веки тяжелые каменных женщин
не дают мне покоя,
Губы у женщин тех молчаливы, задумчивы
и ничего не расскажут,
Дай мне больше недуга этого, жизнь, -
я не хочу утоленья
Жажды мне дай и уменья в искусной этой работе.

Вот я вижу, лежит молодая, в длинных одеждах,
опершись о локоть,-
Ваятель теплого, ясного сна
вокруг нее пол-аршина оставил.
Мальчик над ней наклоняется, чуть улыбаясь,
крылатый...
Дай мне, жизнь, усыплять их так крепко -
каменных женщин.

Здесь следование образцу так же безусловно, как и то, что поэт не семенил за великаником, а идет вровень с ним.

Поэтическим своим слухом Васильев уловил и другую тонкую особенность гекзаметра. При его величественности и плавности он хорош и для создания сатиры, ибо нарочитая напыщенность - родная сестра язвительности.

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, Боком одним с образом схож и его перевод,- откликнулся Пушкин на выход перевода Гнедичем "Илиады".

Павел Васильев (на свою беду!) темой для сатиры взял фигуру куда более значительную, чем кривой Гнедич - вспомним его пародию на "Шесть условий" товарища Сталина.

Наиболее полно и широко талант Васильева развернулся в жанре поэмы. В эпических его произведениях несомненно следование принципам историзма, выработанным великим предшественником. Обоих художников привлекают переломные моменты истории, Пушкина - времена смуща-

ты, петровская эпоха, пугачевский бунт, Васильева - революция, гражданская война, коллективизация.

Поэмы Васильева - широкие многокрасочные картины, насыщенные острыми конфликтами. Движение сюжета в них многоплановое, картины историко-социального содержания перемежаются бытовыми сценами, диалогами, лирико-философскими отступлениями.

Одно из наиболее значительных эпических полотен Васильева "Соляной бунт" даже не поэма в ее классическом виде, а скорее историческая драма. Композиционно она близка к "Борису Годунову". А вот поэма "Принц Фома" - родная сестра пушкинской шутливой поэме "Граф Нулин".

"Граф Нулин", отмечает Белинский, "есть целая галерея превосходнейших картин фламандской школы" и в подтверждение приводит сцену выезда помещика на охоту:

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет;
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке и т.д.

По части картин во “фламандском вкусе”, читатель уже знает, Васильев тоже был великим мастером и в “Принце” еще раз продемонстрировал это в ^чисании обеда, данного Фомой в честь французской миссии:

Телячья головы на блюде,
Лепешки в масляной полуде -
Со вкусом убраны столы!
В загоне, шевеля губою,
Готовы к новому убою,
Стоят на привязи волы.
Пирог в сажень длиной, пахучий,
Завязли в тесте морды щучьи,
Плывет по скатерти икра.
Гармонь на перевязи красной
Играет “Светит месяц ясный”
И вальс “Фантазия” с утра.
Кругом - налево и направо -
Чины командного состава,
И, засучивши рукава,
Штыком шыряя в грудах снеди,
Голубоглаз, с лицом из меди,
Сидит правительства глава...

По сочности живописи картины друг другу не уступают, и, если говорить языком спортивных комментаторов, уместно будет сказать, что в этом состязании поэты разделили бы высшую ступень пьедестала. Интонационно поэты так близки, что кажутся написанными одной рукой. Четырехстопный ямб (вообще не свойственный Васильеву) легкостью и изяществом в “Принце” настолько пушкинский, что органично вписался бы в “Графа”.

Поостерегусь далее вторгаться в тайное-тайных таланта. “Каким образом ваятель в куске каарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет... почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами и размеренная стройными однообразными стопами?” - если на этот вопрос не смог ответить сам Пушкин, согласимся с древними греками, считавшими поэтический дар божественным.

ГОЛГОФА

Тяжко приступить к рассказу о последних днях жизни поэта. Не стану пересказывать страшные подробности следствия по делу Васильева, ибо методы “работы” ежовско-бериевских палачей ныне общеизвестны. В ноябре 1936 года был арестован прозаик Михаил Карпов. 28 декабря он сознался во всем, что было и чего не было.

В частности, им были даны показания и о том, что в разговорах с писателем Макаровым они пришли к выводу о необходимости от пассивного осуждения режима переходить к террору против руководителей партии и правительства. Физическим исполнителем террористического акта против Сталина был намечен поэт Павел Васильев.

Из протокола допроса М. Карпова: “...выбор пал на Павла Васильева потому, что он весьма озлоблен против ВКП (б) и Сталина и изъявил личное согласие на совершение террористического акта. Бухарин одобрил этот выбор. Вместе с этим Макаров заявил, что Павел Васильев, будучи беспартийным, наиболее подходит для роли исполнителя террористического акта против Сталина, так как при этом удается зашифровать участие “правых” в террористическом акте и в случае его провала организация “правых” не будет разгромлена.

Выбор Васильева мотивировался и тем, как утверждал Макаров, что убийство Сталина по-этом, вышедшем из среды крестьян, то есть всего народа СССР, и за границей будет ясно говорить о том, что это убийство не является результатом умысленности отдельного представителя какой-либо политической группировки, претендующей на портфель. Это будет воспринято как результат гнева народного против ВКП (б) и ее политики. Все будут говорить, что диктатора убил талантливый поэт эпохи.

Вопрос: Как практически намечалось осуществление террористического акта?

Ответ: Макаров на мой вопрос в этой плоскости ответил, что Васильев “в силу родственной близости к Гронскому И. М., редактору журнала “Новый мир”, имеет большие связи, через которые можно добиться личного приема у Сталина якобы для разрешения вопроса о его положении в литературе (было известно, что Stalin беседует с писателями), и при этом тем или иным способом осуществить террористический акт”.

Санкция на арест Васильева была незамедлительно дана, 6 февраля его “взяли”. Действовали так поспешно, что арестовали поэта, еще не имея ордера, который выписали двумя днями позже. Как было не спешить - такая перспектива замаячила - раскрытие террористической группы из среды писателей!..

Кроме Карпова и Васильева вскоре были арестованы Макаров Иван Васильевич, Наседкин, Приблудный.

На Васильева было заведено дело № 11245.

Еще неарестованный Гронский обращался к Молотову, Калинину, даже самому Сталину. Звонил Ежову, поручался за Васильева. Ничего не помогло. Страну намертво зажимали “ежовыми рукавицами”. Как всякий временщик Ежов управлялся своей безграничной властью, доверием вождя. Эта человеческая гнусь еще и мысли не допускала, что и ему самому в недалеком времени доведется сгинуть в тех подвалах, где истязали и расстреливали по его приказам.

Мы никогда не узнаем всей правды о том, что пережил поэт в последние месяцы своей жизни. Единственное достоверное свидетельство принадлежит самому Васильеву - последнее из дошедших до нас его стихотворение.

Снегири взлетают грасногруды...
Скоро ль, скоро на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.
Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.
Я скажу тогда тебе, подруга:
“Дни летят, как на ветру листье,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все...”

Поэт еще надеялся остаться в живых, готов был к ссылке, лагерю. Исследователи отмечают такие “странные”: из дела изъято несколько протоколов. Объяснение может быть только одно:

они не устраивали высшее начальство, Васильев еще не признал предъявленных ему обвинений. И его брали в более жесткую обработку, о чем свидетельствуют бурые пятна на некоторых страницах.

Дочь поэта Наталья Фурман, ознакомившись с ксерокопиями документов, заметила, что подписи отца четкие в первых протоколах, в последующих едва узнаваемы, а под последним - вместо подписи волнистая линия...

В 1956 году стало известно и другое. Вначале Павла допрашивал следователь И. И. Илюшенко, тот самый, что вел следствие по делу "Сибирской бригады". Он по-видимому понимал меру таланта Васильева и хотел сохранить его: да, виноват, по пьянке допускал антисоветские высказывания, но и только, а это уже не терроризм, а другая статья помягче. Илюшенко был отстранен от следствия, вместо него дело повел Павловский, который в кругу чекистов похвлялся, что меньше двух разведок и тридцати участников контрреволюционных организаций он от своих подследственных "не берет".

Профессор В. Сорокин, исследовавший дело № 11245, так формулирует свои выводы: "В протоколах, где Васильев признает все предъявленные ему обвинения, оговаривает себя и других", ...не его словарь, не его душа: "солидаризировался", "оказался в пленау", "таким образом", "руку помощи"... Несчастных принуждали копировать кровавые заготовки следователей.

Только недруг Павла Васильева, только враг русского поэта согласится, что писал заявление заключенный П. Васильев. Его пытали. Били. Психологически атаковали. Его “отключали” беспамятством, “оживляли” изуверскими методами - зажимом конечностей, удушием, бессонницей, терзанием, что побоят братьев, жену, отца, мать, как вели себя палачи со всеми несчастными, со всеми подвальными узниками.

Когда осужденный был доведен до “полусознания”, до “полуумирания”, ему подсовывали их готовый текст “признания”, их кровавый гимн смерти, их кровавое сочинение. Ну кто не подпишет? Кто?..”

Алматинский литературовед, посвятивший годы труда исследованию жизненного и творческого пути Васильева, Г. Тюрин в статье “Литература - моя кровь и плоть” цитирует письмо М. Буянова, сына человека, сидевшего в одной камере с Васильевым. Автор сообщает в письме такие подробности из воспоминаний отца. “Однажды к ним в камеру втолкнули молодого окровавленного мужчину, он не держался на ногах, он стонал. Его подхватили, дали воды. Заключенный открыл запухшие глаза и, увидев, с каким состраданием смотрят на него люди, сказал: “Я не подписался, чуть не убили... Выйдете на волю... отомстите”. Утром этого человека уволокли, уволокли на следующий допрос... То был поэт Павел Васильев”.

Все, что показали на допросах подследственные относительно подготовки террористического

акта против Сталина, было самооговором и оговором друг друга, в этом нет сомнения. Никакого заговора, никакой террористической группы не было и в помине. Вместе с тем из этих показаний с такой же несомненностью вырисовывается картина абсолютно негативного отношения к режиму и вождю в писательских кругах близких Васильеву.

Не на Лубянке же сочинил Наседкин стихотворение “Буря”, в котором есть такие строки:

Ни огня, ни темной хаты,
Такая глуши, такая мгла,
Что надо бить в колокола,
Чтоб вывесть путника на свет,
Но даже колокола нет.

Наверняка не выдуманы такие, к примеру, детали, как предложение Макарова написать поэму “Иосиф Неистовый”, высказывания Артема Веселова: “Я могу поставить пушку на Красной площади и стрелять в упор по Кремлю”, Васильева: “Если под пули стать придется, я и пули не боюсь”, Карпова: “Партия превращена в запущенное стадо” и т.д.

В обращении друг с другом они были откровенны, под рюмку – тем более. Ничего не стоило мастерам заплечных дел выстроить из разговоров заговор, распределить между злоумышленниками роли.

13 июня 1937 года по делу П. Васильева было вынесено обвинительное заключение.

В последней надежде спасти свою жизнь поэт

обратился с заявлением на имя Ежова. Оно выдержано в покаянных тонах (как иначе мог писать человек после того как собственной рукой подписал протоколы с выбитыми из него показаниями?). Ответом было состоявшееся 15 июля судебное заседание Военной коллегии Верховного суда. Председательствовал на нем, как всегда, когда рассматривались дела известных людей, армвоенюрист Ульрих. Этот человек, обличенный высшей судебной властью, почти два десятилетия чуть ли не ежедневно штамповал расстрельные приговоры, не подлежащие обжалованию и приводившиеся в исполнение безотлагательно. Уроженец Риги, маленький лысый человек с розовым лицом и подстриженными усиками - таким запомнился он современникам. Известно также, что вечерами, устав от трудов на кровавом конвейере, армвоенюрист имел возможность развлечься и расслабиться в Кремле, в непосредственной близости от вождя на разного рода празднествах с ужинами и выступлениями лучших артистов страны. На них присутствовали государственные деятели, маршалы, писатели, ученые, со многими из которых ему еще предстояло встречаться в обстоятельствах, не располагавших к наслаждению искусством.

В 44 томе Большой Советской энциклопедии (2-е издание) есть сведения о герцоге Ульрихе Вюртембергском, жившем в XVI веке и прославившемся расточительностью и жестокостью. О "нашем" Ульрихе ни слова. Какая несправедливость! Не знаю, доводился ли армвоенюрист

герцогу Бюртембергскому прямым потомком, но его заслуги, кажется, должны бы обеспечить ему почетное место в истории СССР. Дата выхода 44 тома все объясняет - том вышел в 1956 году, когда о достижениях карательных органов в борьбе с врагами народа уже предпочитали умалчивать. Как только земля носила этого Чикатило в мундире армвоенюриста? Не грянул над ним Божий гром, не провалился он в преисподнюю. Дослужился до пенсии, в почете и холе отошел в мир иной в 1951 году. Итак, перед Военной коллегией Верховного суда предстал двадцатишестилетний Павел Васильев, измученный пятимесячным заключением, допросами, истязаниями, безоговорочно признававший все, что вменило ему в вину следствие. Васильев подтвердил свои показания на предварительном следствии и просил дать возможность ему продолжать литературную работу. Наивный, он еще на что-то надеялся, наверняка, следователи внущили ему, что только безоговорочное признание и раскаянье гарантируют ему жизнь. И не рванул на себе Павел ворот, не выкрикнул в лицо палачам, что никакой он не террорист, что все его показания даны под пытками. Да если бы сказал, ничего бы это не изменило.

Впрочем, что мы можем знать о том, как проходило заседание этого карательного органа? Может и предпринял Павел Васильев отчаянную попытку раскрыть глаза суду на методы следствия. Да кто бы занес его обличения в прото-

кол, который затем надлежало заключить в папку с надписью “Хранить вечно”. Палачи ведь не только при жизни хотели слышать, но и в памяти потомков остаться, в историю войти людьми “с холодной головой, горячим сердцем и кристальной совестью”.

Судебное заседание со всеми формальностями заняло 20 минут. Приговор: к расстрелу с конфискацией имущества.

Он был расстрелян в один день с Карповым, Макаровым и Иваном Васильевым. Позже расстреляли Приблудного и Наседкина, нашли в ссылке изможденного умирающего Клюева и тоже расстреляли. Крестьянских поэтов, не обладавших пролетарскими устремлениями, истребили под корень. Срубили не ветвь, а один из могучих стволов русской литературы.

Павла Васильева допрашивали, истязали, а в это время в газетах и журналах его топтали, мешали с грязью. В. Ставский, А. Безыменский, А. Тарасенков требовали призвать к ответу всех, кто покровительствовал этому “контрреволюционеру”, “кулацкому бандиту”, “заклятому врагу, ныне изобличенному до конца”.

Мой дом - моя крепость, - говорят англичане. Но, как известно, нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики. Право досмотра за личной жизнью получили не только карательные органы, но и всевозможные общественные организации. Группа писательских жен (Я. Иванова, Э. Финк, Ф. Лейтес и другие) включились во всеобщее разоблачительство. Идейные и непороч-

ные эти особы не только “обследовали жилищно-бытовые условия” некоторых писателей, но и живописали в “Правде”, как в квартире писателя Гарри застали пьянку среди бела дня, на которой, конечно, присутствовал пресловутый Васильев. Западные бульварные газетенки, перебивающиеся такого рода публикациями о частной жизни знаменитостей лишь могли из подворотни облять человека, но порядочные люди к желтой прессе относились брезгливо. “Правда” же не столько информировала читателей, сколько выдавала директивы и выносила приговоры. Ошельмованному в “Правде” - жаловаться некому.

В шестом номере “Нового мира” за 1937 год (И. Гронский уже был отстранен от руководства) увидела свет статья анонимного автора “За большевистскую бдительность в литературе”. О Васильеве в ней сказано: “...Ярким примером притупления бдительности являются также оценки кулацких стихов Павла Васильева. Контрреволюционное нутро этого фашиста явно выпирало в хулиганских скандалах и дебошах, которые он устраивал... А что делала критика? Еще в 1934 году Усиевич возвестила, что П.Васильев “отчалил” от своих кулацких берегов, что он “вступил на второй путь” - к революции, пролетариату. Можно ли было говорить так на основании объективного анализа творчества Васильева? Ни в коем случае”.

Это было, кажется, последнее упоминание имени Васильева в печати, в дальнейшем его уже не полагалось вспоминать ни по каким поводам.

Правда, десятилетие спустя была замаскированная попытка напомнить о Васильеве. Отважился на нее друг его юности Иван Шухов. В 1946 году в "Сибирских огнях" были опубликованы главы романа "Метель", над которым он тогда работал. Время было недобroe для литературы - только что вышло печально знаменитое постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград". И на Шухова тут же прицыкнули. Писательница А. Караваева немедленно "прореагировала" на публикацию в "Сибирских огнях" статьей, в которой заявила об узко-примитивном понимании писателем сущности и значения колхозной жизни. Но криминал зоркая охранительница идейности советской литературы усмотрела не только в этом. "Если редакция не была осведомлена, чьи именно песни распевают герои романа, - донесла она, - то ведь самому Шухову известно, что эти песни принадлежат перу антисоветского поэта. Но этого мало. Один из любителей этих песен в романе восторженно отзыается о них: "Хорошая у нас страна - Россия, если поются в ней такие песни... Умереть за такие песни!" Случай по-своему беспрецедентный, не нуждающийся в комментариях".

Не менее злобно за те же грехи обличала Шухова и Е. Усиевич.

Как видим, те, кто был в свое время знаком с поэзией Васильева, не забыли ее. Только в праве на место в истории литературы решительно отказывали поэту.

Какие же “кrimинальные” песни распевали герои романа? Как оказалось - васильевские. В том числе из “Песни о гибели казачьего войска”.

- Ты скажи-ка мне, сестра,
Чей там голос у тебя,
Чей там голос
Ночью раздавался?

- Ты послушай, родной брат,
Это - струны на разлад,
На гитаре я вечер играла.

- Ты скажи-ка мне, сестра,
Чья там сабля у тебя,
Чья там сабля
На стене сверкала?

- Ты послушай, родной брат,
Это - месяц на закат,
Закатился
Месяц серебристый.

- Ты скажи-ка мне, сестра,
Не настала ли пора,
Не пора ли
Замуж отправляться?

- Ты послушай, родной брат,
Дай пожить мне, поиграть,
Дай пожить мне,
Дай покрасоваться...

Эту песню, как вспоминал впоследствии Шуров, он певал когда-то в Константинове, в кругу есенинской семьи, а “Павел присоединялся к хору и подпевал своим золотым ямщицким голосом”.

Памяти своего друга И. Шухов остался верен всю жизнь.

Одной из своих поздних прекрасных повестей “Травы в чистом поле” он предпослал эпиграф из Васильева:

Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Черные на новолунье ночи.
Тяжкие лампады. Бубенцы.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Через год после гибели Павла Васильева был арестован И. Гронский.

Биографическая справка. Выходец из рабочих, большевик с дореволюционным стажем. В 1925 году окончил Институт красной профессуры, редактировал "Известия", журналы "Новый мир" и "Красная нива". В 1932 году был утвержден председателем оргкомитета Союза писателей СССР. Пользовался доверием Сталина, был на короткой ноге с Молотовым, Куйбышевым, Калининым, Микояном, Луначарским, Горьким, А. Толстым и другими видными людьми своей эпохи.

Арест, допросы с пристрастием не сломили бывшего грузчика, вины за собой он не признал. Пятнадцать лет лагерей, ссылка на поселение. В 1954 году реабилитирован, восстановлен в партии. Принял активное участие в реабилитации репрессированных писателей, написал интересные и честные мемуары. Умер на девяносто первом году жизни.

Была репрессирована как ЧСИР (член семьи изменника Родины) и гражданская жена Павла Васильева Елена Вялова. Отбыла девятнадцать лет в лагерях и на поселении. В скорбном списке тех, кто за дружбу или родство с "врагом народа", был репрессирован, одна из многих.

Отец поэта Николай Корнилович по некоторым свидетельствам не скрывал своей ненависти к власти. В Омске его будто бы не раз видели в людных местах читавшим стихи сына и срывающимся голосом возвещавшего: “Вот какого поэта загубили, ироды!” Так ли все было, теперь уже не узнать, достоверно лишь то, что в 1939 году Николая Корниловича арестовали, спустя год он погиб в лагере. Глафиру Матвеевну с сыновьями выслали в одно из дальних сел Омской области. В 1943 году на фронте был арестован и младший брат поэта Виктор Васильев. Его обвинили в том, что, работая на дальномере, давал неверные данные и батарея мало сбивала “юнкерсов”. Суд был скорый - все и так ясно (родной брат “врага народа”), приговор стандартный: десять лет лагерей и пять лет поражения в правах. Срок отбывал на лесоповале, выжил чудом. Живет Виктор Николаевич в Омске, он член Союза писателей России, автор талантливых повестей, пишет стихи, великолепно читает стихи своего брата. Он не раз бывал в Павлодаре на различных мероприятиях, посвященных памяти Павла Васильева. В возрасте, близком к восемидесяти, он остается подтянутым, с живыми и быстрыми серыми глазами, с седыми, но густыми и вьющимися непокорными волосами. Во всей его повадке проглядывает фамильная закваска - веселая дерзость, размашистость, эдакая “ястребиность”. Полного сходства с Павлом нет, но похожесть безусловная. Родные братья, одни гены.

Не удалось жандармам до конца извести васильевский корень. В Рязани живет дочь Павла Васильева - Наталья Фурман, выросли две внучки поэта...

Вернувшись из ссылки, И. Гронский и Е. Вялова стали хлопотать о политической реабилитации Павла Васильева и восстановлении его в правах члена Союза писателей. Сравнительно быстро удалось добиться пересмотра дела органами. 2 июля 1956 года Елене выдали на руки справку Военной коллегии Верховного суда СССР, гласившую: "Приговор Военной коллегии от 15 июля 1937 года в отношении Васильева П.Н. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено".

"Вновь открывшиеся обстоятельства" не вернули жизнь поэту, но клеймо контрреволюционера, террориста, врага народа с него снималось. Восстановить же Васильева в правах члена Союза писателей оказалось значительно труднее. "Инженеры человеческих душ" оказали такую бдительность, которой могли позавидовать даже чекисты.

Б. Пастернак, Н. Асеев, Г. Санников и некоторые другие литераторы дали самые благожелательные отзывы о репрессированном поэте. А литературные генералы К. Симонов, А. Безыменский, А. Сурков уперлись. Секретарь Правления Союза писателей СССР А. Сурков так ответил на вопрос Военной прокуратуры о Васильеве.

“На Ваш запрос № 8-с-6193-56 от 15 марта 1956 года сообщаем, что... Васильев П.Н. проявил себя в советской литературе 30-х годов как талантливый поэт. А.М. Горький лично рекомендовал Васильева в Союз писателей.

Однако Васильев П.Н., поддавшись богемным настроениям, стал допускать аморальные поступки (пьянки, дебоши), за что и был исключен в 1935 году из Союза писателей.

Восстановился ли он после этого в правах члена СП мы документально установить не можем, т.к. значительная часть дооценного архива Правления СП СССР погибла во время Великой Отечественной войны”.

Какая избирательность памяти! О том, что исключен из Союза и за что, несмотря на отсутствие документов прокуратура извещается, что же касается дальнейшей судьбы поэта - “документально установить не можем”.

И весь сказ.

И еще один вопрос невольно возникает при ознакомлении с этой казенной бумагой, подписанной человеком, считавшим себя поэтом. Все же что должно быть определяющим при решении вопроса о членстве в СП - талант художника или хорошее поведение? Приняли ли бы по признаку хорошего поведения в Союз писателей СССР, скажем, Пушкина, Лермонтова (дуэлянты), Некрасова (картежник), Г. Успенского (пил), Достоевского (игрок) и многих других, прославивших русскую литературу? В основе этой отписки проглядывает нечто другое, а именно -

опасения незаслуженно возвеличенных поэтов в сравнении с подлинным талантом оказаться менее значительными, чем они привыкли себя считать.

Встревоженный И. Гронский вышел с письмом на имя Константина Симонова. Изложив обстоятельство дела, Гронский напомнил ему: "До ареста Павла Васильева дико травили. Собственно, эта травля в какой-то мере и была причиной ареста и последующей его гибели. Так неужели и сейчас, после его смерти, Союз писателей не обрвает эту линию травли и не восстановит поэта во всех правах члена Союза? Убежден, что Вы правильно поймете мою тревогу и за доброе имя погибшего поэта, и за авторитет Союза писателей".

Ответа на это письмо Гронский не получил и обратился к тому же адресату с повторным письмом, в котором в более резких выражениях потребовал положить конец "недостойной и глубоко возмутительной волоките". "Что означает этот факт, Константин Михайлович, - спрашивал Гронский в письме. - Недомыслие, бюрократизм или кое-что похуже". Но и на повторное письмо ответа не получил. Многократный лауреат Сталинских премий либо перестраховался, либо считал излишним присутствие на советском поэтическом Олимпе такого неординарного поэта как Васильев.

Отказал в поддержке и другой удачливый поэт - А. Безыменский. Он, как и Симонов, широко издавался, был обласкан властью, многие годы занимал руководящие посты в Союзе писателей. С Васильевым у него, как мы знаем, были свои особые счеты. Не исключено, что Безыменский

имел все основания опасаться и выявления своей неблаговидной роли в судьбе Васильева. В личном разговоре Гронского о реабилитации Васильева, Безыменский сказал кратко и исчерпывающе: "Только через мой труп".

Е. Усиевич, в свое время не раз битая за попытки заступаться за Васильева, и на всю жизнь это битье запомнившая, перестраховалась: "Иван Михайлович, побойтесь Бога, это же контрреволюционер, антисоветчик".

На правах старого знакомства Гронский вышел на В.М. Молотова, бывшего в то время Первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. "П. Васильев политически полностью реабилитирован, - сообщил он Молотову, - но Союз писателей отказывает в его посмертной литературной реабилитации". Напомнив Молотову, что тот в свое время высоко оценивал поэзию Васильева, Гронский просил содействовать изданию произведений поэта и его литературной реабилитации. Молотов на удивление быстро помог и в том и в другом. Е. Вялова вызвали в Гослитиздат и предложили подготовить материалы для сборника произведений Васильева. Правление Союза писателей приняло постановление о восстановлении поэта в правах члена Союза.

Е. Вялова приступила к подготовке сборника. Эта работа потребовала немало времени и труда: произведения поэта пришлось выискивать в многочисленных периодических изданиях 30-х годов, государственных и личных архивах. Дело, казалось, шло к полному торжеству справедли-

вости, но тут злой вихрь снова закружился вокруг имени Павла Васильева. К. Зелинский опубликовал в журнале "Октябрь" благожелательную статью о Павле Васильеве. Выше уже говорилось, что критик этой своей статьей в какой-то мере снял с себя вольный или невольный грех подписи под "письмом двадцати". Не успела еще, как говорится, типографская краска на страницах "Октября" высохнуть, последовал отклик. А. Коваленков в журнале "Знамя" выступил со статьей: "Письмо к старому другу".

А. Коваленков - ровесник П. Васильева. Как поэт не состоялся и переквалифицировался в критика. Это в общем-то "обыкновенная история".

Расул Гамзатов так характеризует процесс явления на свет критиков: "У нас в Литературном институте было так. На первом курсе - двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе - пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе - восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса - один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные - критики". Биография А. Коваленкова может служить наглядной иллюстрацией к этому раскладу. Сын профессора, выпускник Литературного института, он начинал как поэт, не состоялся в этом качестве и стал критиком. Оценивать чужие стихи, согласитесь, легче, чем писать самому.

Увесистый камень бросил А. Коваленков на могилу Васильева. Для начала он подводит идеино-политическую базу под свои рассуждения. "У

нас наметилась тенденция: оглядываясь назад, прощать многие грехи и смягчать идеиные оценки". Автор не намерен прощать и смягчать. "О Павле Васильеве заговорили, - писал он, - когда стали ходить по рукам кем-то перепечатанные на машинке экземпляры его поэмы "Песнь о гибели казачьего войска". Не утруждая себя доказательствами, Коваленков безапелляционно утверждает, что поэма "пронизана сочувствием к белогвардейщине", "написана стихийно талантливым, но совершенно чужим для нас, русским, но не советским поэтом". Далее он цитирует отрывок из поэмы "Соляной бунт", "Дед мой был мастак по убою". Сына московского профессора, наверняка не брезгавшего бифштексами из хорошо приготовленной говядины, стихи эти, написанные по его словам "с лютой красивостью", шокировали жестокими подробностями убоя красавца быка. Вывод из этого Коваленков делает глобальный: "Не было в России ни одного поэта, который бы с такой последовательностью, как он, приземлял человеческое достоинство". При этом он ни слова не говорит о том, что жестокая сцена с убоем быка в поэме - своеобразный пролог к казачьему самосуду и казни Григория Босого.

Вот собственно и все, что нашел нужным сказать критик о Васильеве, как поэте. Как видим, до Белинского неудавшемуся поэту далеко. Его статья никакого отношения к литературоведению не имеет, это всего лишь "мемуар" человека, ненавидевшего Васильева. Коваленков и не скрывает этого, признаваясь, что "хотел вспомнить

что-нибудь хорошее о Павле Васильеве, но не смог". А вот эпизоды, рисующие крайне неприглядный облик поэта, ему легко вспомнились, и он поведал о них читателям. На мертвых легко возводить любую напраслину, они не заступятся за себя ни словом, ни пощечиной.

В одной из московских квартир, - повествует Коваленков старому другу, - Павел Васильев "вышел покурить в соседнюю комнату и обнаружил там щенка, спящего в корзине с тряпьем, взял его на руки, погладил и, подойдя к открытому окну, бросил его вниз".

Не говоря уже о том, что такого не мог сделать Павел Васильев, любивший всякое зверье, готовый "целовать нежные ноздри коней", известно доподлинно, что некрасивый этот поступок совершил поэт Алымов на квартире артиста Дикого. Известно даже имя щенка - Филька! Но Коваленкову надо было опорочить Васильева, и он приписал ему бедного щенка.

Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что первом Коваленкова двигала элементарная зависть поэта-неудачника к поэту, умевшему писать "с лютой красотостью".

Вспомним пушкинского Сальери с его упреком небу:

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений - не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Сальери в чашу Моцарта бросает яд, Коваленков не дает Васильеву права даже на посмертное признание.

Статья эта поставила на грань срыва готовившийся к изданию сборник Васильева. Снова в борьбу вступил Гронский и в октябре 1957 года первый посмертный сборник "Избранных стихотворений и поэм" поэта с предисловием К. Зелинского увидел свет. И снова громыхнули недруги Васильева.

А. Коваленков не назвал своего старого друга по имени. Надо полагать им был А. Макаров, тоже современник Васильева, тоже неудавшийся поэт и состоявшийся критик. В 1958 году в 4 номере "Знамени" была опубликована его статья "Разговор по поводу...", развивающая и углубляющая положения коваленковой статьи. Популярность поэта в 30-е годы Макаров объяснил поведением поэта, "которое не было чуждо позы и носило демонстративно-аморальный характер". Стихи, по его мнению, у Павла Васильева "омрачены воспеванием того темного и животного, что живет в человеке". Автор выражает свое абсолютное несогласие с предисловием, в котором поэт "становится лицом светел". Между тем это далеко не так, доказывает А. Макаров. О поэме "Песнь о гибели казачьего войска" у критика не нашлось других слов, кроме: "Сумятица невероятная, и вряд ли эта цветистая кутерьма может быть названа поэмой", в поэме "Соляной бунт" он не нашел ничего, кроме "пристрастия Павла к изображению грубос-

ти, свирепости, жестокости, к поэтизации темных сторон жизни".

Любопытную подробность последовательного и злобного неприятия Васильева приводит в одной из своих статей казахстанский литературовед Г.А. Тюрин: "За период с 1957 по 1969 год критические статьи этих авторов с включением в сборники статей о Васильеве издавались девять раз".

Новые злые наветы не остановили возрождения славы поэта. Она ширилась год от года, один за другим выходили сборники стихов, книги о нем. Против погибшего поэта выступила и "Литературная газета". За подписью "Литератор" газета опубликовала статью "Литературные акафисты". "К. Зелинский, заявлял анонимный автор, в своем предисловии к "Избранным стихам и поэмам" П. Васильева не избежал излишнего благодуния и снисходительности, преувеличил место этого поэта в советской поэзии". Снисходительно-высокомерно отзывался о своем погившем однофамильце поэт Сергей Васильев. "Отрадным моментом явилась гражданская реабилитация таких поэтов, как Борис Корнилов и Павел Васильев. Отдавая здесь дань уважения этим отличным юным талантам, один из которых (я имею в виду Павла Васильева) так и не успел созреть по-настоящему, невозможно вместе с тем не разразить апологетически написанной К. Зелинским вступительной статье к однотомнику П. Васильева, недавно вышедшему в Гослитиздате. Творческий облик молодого поэта, чересчур расхвального критиком, выглядит в статье явно одно-

сторонне. На этот раз К. Зелинский промахнулся.

“Промахнулся”, опубликовав это письмо в “Литературной газете”, сам Сергей Васильев. Он запамятали об одном обстоятельстве, которое слишком явно свидетельствовало о предвзятости его оценки. В письме анонимного партийца, цитируемого Горьким в “Литературных забавах”, есть и такие строки: “А вот - Васильев Павел, он бьет жену, пьяняствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношения к жене.

- Она меня любит, а я ее разлюбил... Удивляются все - она хорошенькая... А вот я ее разлюбил...

Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный, театральный. О нем говорят мне немало, и о нем собираюсь поговорить на диспуте, о котором вам рассказывал и собираюсь еще рассказать”. Вот что пишет по этому поводу в своих воспоминаниях Е. Вялова.

“...досталось, конечно же, не только Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову. Следующим объектом критики был тоже поэт, однофамилец Павла Васильева - Сергей: “...О Смелякове мы говорили. А вот Васильев Сергей, он бьет жену, пьяняствует” и т.д.

Каково же было удивление тех, кто хорошо помнил горьковскую статью, когда в ее последующих переизданиях обнаружилось, что все гре-

хи Сергея Васильева таинственным образом переадресованы Павлу. Сделали это просто: имя “Сергей” заменили на “Павел”.

Я ни в коем случае не берусь обвинять автора известных песен в этой “опечатке”. От кого исходила эта инициатива, узнать сейчас, пожалуй, невозможно. Хотя о мотивах догадаться несложно - мертвому и оклеветанному поэту хуже уже не сделаешь, а вот живому, ох как могли повредить напоминания о грехах молодости.

Павел почти не встречался со своим однофамильцем. Однако заочным чувством была неприязнь. В начале тридцатых совсем еще юный Сергей Васильев подрабатывал, читая свои стихи в кинотеатре “Художественный” перед началом сеанса. Публика наивно полагала, что перед ней - автор нашумевшего “Соляного бунта”. Павла Васильева, считавшего чтение стихов по кинотеатрам чуть ли не позорным занятием для уважающего себя поэта, такие “перепутывания” приводили в бешенство. Во время одной из случайных встреч Павел предложил Сергею “быстренько взять псевдоним, называться хотя бы “Курганом”, по названию города, откуда приехал”. Так Павел нажил себе еще одного недоброжелателя.

Зачем нужно было вспоминать эту историю? Просто во всех посмертных изданиях статьи Горького упомянутая фальсификация сохранена. Этому пора положить конец, тем более что сейчас выходит в свет новое академическое издание Горького. На Павла Васильева вылили и без того немало грязи...

ВЕНОК СЛАВЫ

Забыты имена слывших поэтами лишь благодаря их умению угождать вождям и агрессивности по отношению ко всему яркому и самобытному. В будущих антологиях русской поэзии им не найдется места. А посмертная слава Павла Васильева год от года возрастает. Сборники его стихов и поэм издавались в Москве, Алматы, Петербурге, Новосибирске, Омске, Уфе и других городах. Написана не одна книга и о поэте. Его имя увековечено в названиях улиц, библиотек, литературных объединений в Павлодаре, Омске, Владивостоке. В Павлодаре есть Дом-музей Павла Васильева.

Произведения поэта в переводах Андрея Малышко звучат на украинском языке. Их читают на языке Абая. Книга лирики Васильева издана в Болгарии. Его полная трагизма и жизнеутверждающего пафоса поэма “Песня о гибели казачьего войска” в обработке Л. Николаева стала величественной ораторией. В репертуаре известной певицы Елены Камбуровой и актера Александра Лушкина звучит васильевская “Тройка”.

“Неистовому детенышу Иртыша” посвящены поэмы И. Шухова, В. Лебедева, Н. Трегубова, повести П. Северова, П. Косенко, брата поэта

Виктора Васильева, стихи Н. Клюева, Я. Смелякова, Н. Титова, Л. Вышеславского, А. Попечного, В. Цыбина, павлодарских поэтов С. Музалевского, В. Семерьянова, Б. Исаева. Свое проникновенное слово о Павле Васильеве как человеке и поэте сказали многие писатели, поэты, литератороведы. Это подлинный венок славы безвременно погившему, но оставшемуся жить в веках поэту. Новые поколения вплетут в него свои соцветия признаний и памяти.

А. Серафимович, писатель: "...ознакомился с несколькими стихами вольного слушателя рабфака искусств Павла Васильева. Плохо разбирайсь в поэзии, я должен признаться, что стихи произвели на меня неизгладимое впечатление. Писать такие зрелые стихи в таком юном возрасте - изумительно".

Борис Пастернак, поэт: "В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками.

У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я

уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы. Помимо печатающихся его вещей ("Соляной бунт" и отдельных стихотворений) вероятный интерес и цену должно представлять все то, что от него осталось".

Корнелий Зелинский, критик: "Павел Васильев принадлежит к таким поэтам, которые поражают вас сразу, удесятеренным чувством жизни. Вы раскрываете его книгу, и первое, что бросается в глаза - вот эти яркие краски эпического живописца, который сам словно потрясен зреющим материального живого бытия.

Откуда рождались у Павла Васильева... удивительные по своей изобразительной энергии слова и образы? В них угадываешь неукротимую душу...

"Да, этот мир настоящ на огне..." - писал Павел Васильев в "Автобиографических главах". Бескрайней русской удалью вспыхнул этот огонь в поэте, чтобы перелиться в его стихи".

Павел Косенко, писатель, литературовед: ..."Его поэзия так ярка и громка, что в первый момент ослепляет и оглушает; какое буйство сияющих, неудержимых, неожиданных красок, какая симфоническая мощь! С какой силой воплощено в этих полных музыки строках нелегкое счастье жить" на золотой, на яростной, прекрасной земле". "Я, у которого над колыбелью коровьи морды склонялись мыча, отданный ярмарочному веселью, бивший по кону битком сплеча, бивший в ладони, битый бичом, сложные проходивший науки, я говорю тебе жизнь: нипочем не разлюб-

лю твои жесткие руки... Я, детеныш пшениц и ржи, верю в неслыханное счастье. Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи руки мои от своих запястий".

Удивительно отчетливо выразил Павел Васильев в своем творчестве многие черты русского национального характера: широту, половодье чувств, размашистую самозабвенную удаль, возникшую от того, что сила в жилах перекатывается, яростное жизнелюбие, негасимую любовь к чистой и ясной красоте".

Галина Серебрякова, писатель: "... вот он начал читать свои стихи. И будто распались стены дома и ворвалась с гиком и песней былинная, стихийная могучая матушка Русь. Промчались сибирские казаки, легла под копытами коней рожь, упало и поднялось пылающее солнце. Павел перевоплотился. Холодные шалые глаза его потеплели, волчий огонек в них погас.

Как всегда, когда человек соприкасается с настоящим талантом, с высоким, подлинным, а не мнимым искусством, он как бы сбрасывает с себя груз мелких чувств и суеты. Лица слушателей осветились вдохновенной мыслью, радостью. Редко упивалась и я столь превосходными строфами: шолоховского масштаба и самобытности был перед нами чудодей!..

Васильев, худощавый, стройный, казался нам одним из тех, кто в далекой древности, в Элладе, заставил поверить в божественное происхождение поэзии. Напевность его стиха, сочность, но-

визна словесных оборотов, красочность пейзажей, буйная богатырская эмоциональная сила покорила всех”.

Наталья Кончаловская, писатель: “Стоило ему начать читать свои стихи, как весь его облик менялся, в нем словно загорался какой-то внутренний свет. Глубокий, красивого тембра голос завораживал. Читал он обычно стоя, и только наизусть, даже только что написанные стихи, выразительно жестикулируя. Лицо его с тонкими трепещущими ноздрями становилось красивым, вдохновенным, артистичным от самой природы. И это был подлинный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо...

Павел часто выступал и имел огромный успех. Был случай, когда на вечере поэзии в Доме литераторов Борис Пастернак должен был выступать после Васильева. Павел как раз читал “Стихи в честь Натальи” и был встречен такими овациями, что Пастернак, выйдя на эстраду, вдруг объявил: “Ну после Павла Васильева, мне здесь делать нечего!” - повернулся и ушел”.

Сергей Поделков, поэт, литературовед: “Поэзия Павла Васильева - это бесценный вклад в сокровищницу русской культуры. Все из жизни - и в жизнь. Именно жизнь сияла в помыслах поэта, жизнь - крутая и нежная, бушевавшая, как штурм, в его произведениях.

Однажды он сказал мне: “До тридцати лет буду писать стихи, а потом перейду на прозу - навсегда!”. Поэт не дожил до обозначенного возрастного рубежа... Его мощная поэзия продолжает вол-

новать наши души. И я не могу представить его иным - ни пожилым, ни старым. Роюсь в памяти, как в архиве, перебирая померкшие события, речи, пожухлые озлобленные статьи, в которых все, что бы он ни создавал, объянялось идеино порочным и враждебным.

Все созданное его гением - блистательно не- повторимо. Какая свежесть, какое чудотворство речи, и не потускнело серебро эпитетов и сплав метафор - они сияют и звучат старинным колокольным русским звоном".

Александр Михайлов, писатель, литературовед: "Павел Васильев активно творчески работал каких-нибудь семь-восемь лет, если не считать совсем уж юношеских опытов. Причем с каждым годом, с каждой значительной вещью раскрывались новые грани его дарования, заставляя верить в неисчерпаемость творческой природы этого человека. И каждый раз, читая хронологически и впервые, невозможно предположить, каким будет его следующее произведение, какие еще запасы воображения раскроются в нем".

Валентин Сорокин, поэт, литературовед: "Невероятно, гениально одаренный, рожденный стать Пушкиным своего времени, он не понимал, как парящий орел, почему же он раздражает кровавых карликов огромностью, красотой и независимостью размаха степных крыльев? Их он раздражал. Они его раздражали. Они - зубоскалить. Он - зубоскалить. Они - злиться. Он - злиться. Они в ярости. Он - в ярости.

Бесконечные накачки, обвинения, придиরки, угрозы. Суд над ним в 1932 году. Помяли - выпустили. Суд над ним в 1935 году. Помяли - выпустили. Зарядили гневом. Поиздевались...

Его стихи - баллады. Его поэмы - романтичны. Его повествования - былинны. Гусляр. Волхв".

Владимир Цыбин, поэт: "Со стихами Павла Васильева, а вернее, с отрывком из поэмы "Соляной бунт", я встретился впервые будучи студентом Литературного института..."

Это было ошеломляющее. Так, должно быть, знакомится с землетрясением. Такой стих я еще никогда не слышал в русской поэзии: властный, волновой - в нем чувствовалась яростная, завоевательная сила. "В черном небе волчья проседль, и пошел буран в бега, будто кто с размаху косит и в стога гребет снега". Эти стихи нужно было произносить.

Мне кажется, что мощное, неотвратимое излучение васильевской поэзии испытали многие мои сверстники - это и Николай Рубцов, и Дмитрий Блынский. Но особо чувствителен к нему оказался Олжас Сулейменов, воспринявший от Павла Васильева изломанность стихового рисунка, яркость речи, да и сам тематический орнамент.

Сердце его жило в грозе. Ее пульсация раскачивала его горланные стихи. Он жил и писал в знойном, даже каком-то душном лирическом климате. Весной подымается температура у черемухи от буйного безостановочного цветения. Читая его стихи, убеждаешься в законе реальности, что

жизнь - это бытие одушевленной формы. В этом мире вещи и явления поменялись друг с другом своими качествами, все идет как бы наоборот:

В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть,
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть...

Читаешь такие стихи и думаешь, что попал в какой-то странный мир, в какое-то состояние после катастрофы, когда остаются только еще не успевшие окаменеть образные густки.

Образ становится органом мысли. А душа как бы прибывала от нарастания образной энергии.

“... Ой, и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени - по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет ,
Про меня ж, бедового, спойте вы...”

Ресурсы огромного васильевского таланта спешили осуществиться в каком-то роковом предчувствии конца, наступала в стихах 1935 - 1937 гг. какая-то преждевременная зрелость. Не нам ли, людям послезастойновщины, обещано: “Будет вам помилование, люди, будет”.

И это сказано в самом пекле тридцать седьмого, увидено, почувствовано без ужаса, с почти мудрой, старческой смиренностью.

Когда поэту судьбой отпущено мало времени, в его творчестве включаются мощные ускорители, чтобы путь был пройден до “конца”, чтобы

личная сверхзадача была выполнена. Но бывает, что этих сил ускорения все же не хватает...

Павел Васильев, несомненно, проживи он еще десять-пятнадцать лет, отклонил бы в решающей степени путь развития нашей поэзии на себя".

Андрей Вознесенский, поэт: "О Васильеве я узнал от Бориса Пастернака. Вещи говорят сами за себя. Побеждают цитаты из Павла Васильева, а не слова о его творчестве".

Г. Тюрин, литературовед: "Поэзия Павла Васильева - бурный вулканический всплеск эмоциональной энергии и жизнелюбия..."

Самобытные васильевские стихи - это сгустки художественной экспрессии, органический сплав бурлящей жизненной энергии и мощной динамической напряженности. "Я хочу, чтобы слова раскошествовали, чтобы их можно было брать горстями... Для меня важен не только вкус, но и сытость. Страна должна быть, как свинчатка" - эстетическая программа зрелого художника".

Олжас Сулейменов, поэт: "Со стихами Павла Васильева я впервые познакомился в литературном институте имени Горького, где я учился, начиная с 1958 года. Влюбился в его энергичный ярко образный стих, в котором отразились дух, энергия павлодарской степи. Творчество Павла Васильева - это дар нам, входившим тогда в литературу".

Андрей Хвалин, литературовед: "Для меня Павел Васильев - это вестник нового слова. Это человек, который объединил своим творчеством европейскую Россию и Россию азиатскую. Только

сейчас становится понятным значение Павла Васильева во времени, в истории, в общемировой культуре".

Расул Гамзатов, поэт: "У меня много украдено времени. Меня в школе учили на стихах Безыменского, Жарова, Виктора Гусева, Демьяна Бедного, Лебедева-Кумача. Я о Павле Васильеве не знал ничего. Есенин был запрещен, даже Маяковского преподавали однобоко. Я, к сожалению, поздно пришел к Павлу Васильеву, но его творчество взволновало меня, особенно его ода Наталье, да и другие произведения. И крепкий чеканный стих. Я человек непостоянный, по настроению человек, но в отношении к Павлу Васильеву я ни разу не изменился. Это сакля, отдельный аул во всей литературе. Он не подходит ни к группам, ни к поколениям. Поэтов любят делить наши критики по поколениям, по группам, по темам... Он живет как паспорт, как удостоверение личности русской национальной поэзии".

Петр Выходцев, литературовед: "...поэт действительно яркого самобытного дарования, уделявшегося чувства жизни (по удачному выражению К. Зелинского), поэт интенсивной мысли и необыкновенно щедрой образности".

Запись в гостевой книге павлодарского Дома-музея Павла Васильева преподавателя русского языка в Высшей школе Парижа доцента Валя Урвис:

"Павел Васильев был в советской России эквивалентом Артура Рембо в буржуазной Франции XIX века. Промчались они в небе литерату-

ры подобным образом, доминирующий конформизм их не терпел..."Артура Рембо знают во всем мире. И так будет с Павлом Васильевым".

Владимир Солоухин, поэт: "С Лермонтовым его роднит не только юношеский возраст, до которого они успели дожить (26 лет), не только пронзительность и огромность таланта, но и те грандиозные потенциальные возможности, которые погибли вместе с поэтом.

Пушкин, пожалуй, обозначил уже, как говорят авиаторы, свой "потолок". Он рос и разливался бы вширь, как полноводная река, но высота его полета (поднебесная высота!), пожалуй, для нас ясна.

Блок (да не прозвучат эти слова кощунственно) к своим сорока годам сказал большую часть того, что мог. Даже Есенин не оставляет ощущения только что начавшего говорить. Такое ощущение оставляют Лермонтов и Павел Васильев.

Многие поэты приходят в поэзию со своим, так сказать, географическим, этническим, бытовым, укладовым, этнографическим, языковым регионом. Есенин принес рязанское приволье, гречишные, березовые, рябиновые, луговые раздоллья с далями дорог, убегающих через ржаные поля, да с маковками церквей и колоколен, монастырей, белеющих и голубеющих над ржаными полями. Павел Васильев нес особенный, небывалый до него в русской поэзии "регион" - казахско-казачьи степи. Табуны лошадей в неоглядных степях (теперь, кстати сказать, уничтоженных под видом поднятия целины), бесчетные

отары овец, полынь, беркуты в небе, волки на земле, атбасарские ярмарки, атбасарские свадьбы... Все это обильно, ярко, сочно, нарядно, празднично, богато, раздольно, сытно, в меру хмельно, песенно. Все это - в лентах, бусах и шелках.

Так поэт об этом и писал, то есть, что это обильно, ярко, сочно, богато, раздольно... Но это ведь подлежало уничтожению вместе со станицами, ярмарками, табунами и свадьбами... Так поэзия столкнулась с политикой, с идеологией - античеловеческой, антинародной.

...В то время, когда "лучшие" писатели страны сочиняют по заданию правительства чудовищно лгущую книгу о Беломорканале, Павел Васильев говорит:

Ходит посвистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.

Да, поэзия Павла Васильева не захотела идти сквозь шлюзы (как перед этим поэзия Сергея Есенина, как еще перед этим поэзия Блока), поэтому все они, абсолютно "не вписываясь" в действительность, должны были погибнуть и погибли, каждый по-своему".

Алексей Николаев, композитор: "Когда я прочитал "Песнь о гибели казачьего войска", поразился тому, с какой поэтической смелостью и совершенством сочетается в ней казалось бы несовместимое: с одной стороны, поэма - венок разножанровых, разнохарактерных песен, с другой - остросюжетное повествование об одной из волнующих страниц истории - гражданской войне.

Я увидел в поэме готовое либретто оратории, пронизанное действием и в тоже время музыкально продуманное. Казалось, поэт проделал за меня главную часть работы, и мне оставалось только услышать как звучат его стихи..."

В оратории А. Николаева наиболее характерные в сюжетном и образно-поэтическом смысле фрагменты поэмы одна другую сменяют красочно, выпукло нарисованные сцены - поход, битва, расстрел красного бойца, песня казачки над колыбелью, прощание с молодой женой, новая жизнь... И все вместе они представляют многоцветье русского народного языка - плачи-причитания, заклятия, задорные частушки, лирические напевы.

Оратория в исполнении Государственной академической русской хоровой капеллы им. А.А. Юрлова вышла в записи на пластинке.

Виктор Поликарпов, художник: Бесконечный мир степей, седой Иртыш, звучание казахской и русской речи - воздух моего детства. Павел Васильев подарил мне мир моих дедов, они стали моими ровесниками, всегда со мной. Неиссякаем их разговор, вечно кланяется под ветром трава у их ног, горяч песок, гулок Иртыш.

Могучий творческий дух поэта потрясает. Несметны богатства его интуиции, поразительна смелость поиска истины, образы и краски его неуемной песни завораживают.

Я рисую не собственно иллюстрации к его поэзии, а свое чувство причастности к вечному, до которого меня возвышает его чудотворное поэтическое слово.

Павлодарский поэт Василий Луков на открытие Дома-музея поэта в Павлодаре написал стихотворение, в котором есть такие примечательные строчки:

Имена спешат менять,
Возвращаясь к старым.
Предлагаю вновь назвать
Город - Павлодаром!
В честь капризного царя
Наречен заштатный.
В честь поэта-бунтаря
Будь красавец статный!..

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ П.Н. ВАСИЛЬЕВА

- 1909, 23 декабря.** В городе Зайсане в семье Васильевых родился сын Павел.
- 1911-1920.** Семья живет в Павлодаре, в станице Сындыктауской, Атбасаре, в Петропавловске.
- 1920-26.** Возвращение в Павлодар. Продолжение учебы в школе водников, затем в школе второй ступени. Путешествие-экскурсия по Иртышу в сопровождении В.П. Батурина. Павел участвует в школьной стенной печати, пишет стихи, ведет дневники.
- 1926, июль.** Васильев во Владивостоке. Знакомится с Р. Ивневым, Л. Повицким. Выступление со стихами в актовом зале университета. Во владивостокской газете "Красный молодняк" опубликованы стихотворения "Октябрь" и "Владивосток".
- 1926, декабрь.** Васильев в Хабаровске. Публикует стихи в газетах Владивостока и Хабаровска.
- 1927, январь-август.** Васильев в Новосибирске. Наездами бывает в Омске, Павлодаре. Знакомится с А. Сорокиным, Н. Титовым. Печатается в газетах Омска и Новосибирска, журнале "Сибирские огни".
- 1927, декабрь.** Васильев в Москве. Перебивается случайными заработками, поступает на рабфак искусств. Стихотворение "Прииртышские станицы" опубликовано в газете "Комсомольская правда".
- 1927, декабрь - 1928, август.** Живет в Новосибирске. Знакомится с Н. Ановым. Наездами бывает в Омске, Томске, Павлодаре. В Омске знакомится с Галиной Анучиной. Печатается в газетах Омска, Новосибирска, журнале "Сибирь".

ские огни”, активно участвует в литературной жизни Омска и Новосибирска.

1928, август - 1929, август. С поэтом Н. Титовым путешествует по Сибири, работает старателем на приисках, каюром в тундре, культработником на угольных копях, матросом на каботажном и рыболовецком судах. Печатается в газетах Читы, Иркутска, Сретенска, Благовещенска, Верхнеудинска, Хабаровска, Владивостока.

1929, сентябрь - 1932, март. Живет в Кунцево, учится на высших государственных литературных курсах. Выезжает в командировки по заданиям редакций на Каспий, в Омск, Новосибирск. Входит в круг молодых литераторов Сибири в Москве. Печатается в газетах “Известия”, “Голос рыбака”, журналах “Новый мир”, “Товарищ”, “30 дней”, “Журнал для всех”, “Женский журнал”, “Пролетарский авангард”, “Красная новь”, “Сибирские огни”. В Москву приехала Галина Анучина.

1930, декабрь. Выходит книга “В золотой разведке”.

1931, ноябрь. Выходит книга “Люди в тайге” (проза).

1932, март. Арест по делу “Сибирской бригады”.

1932, июнь. Освобожден из-под стражи с условным наказанием.

1932, июнь - 1935, июль. Период интенсивной творческой работы и участия в расприях литературных группировок. Продолжает печататься в центральных газетах и журналах.

1933, апрель. В Омске родилась дочь Наталья.

Выходит коллективный сборник “Песни киргиз-казаков”. Отдельно издана поэма “Соляной бунт”. Набирает силу травля Васильева идеологами социалистического реализма.

Поэма “Песнь о гибели казачьего войска”

(набранная в “Новом мире”) изымается из печати. Сборники стихов и поэм не издаются. Его систематически “прорабатывают” как кулацкого поэта на различных совещаниях в редакциях журналов, в печати.

1934, июнь - 1935, март. В “Правде”, “Известиях”, “Литературной газете” публикуется статья М. Горького “Литературные забавы”, усилившая травлю.

В январе 1935 года исключают из Союза советских писателей. В мае “Правда” печатает “письмо двадцати”. В июле поэт осужден на 1,5 года и отправлен в ИТК г. Электростали. В сентябре он обращается с письмом к М. Горькому. В марте 1936 года досрочно освобожден из заключения.

1936, март - 1937, февраль. В “Новом мире” выходят поэмы “Принц Фома”, “Кулаки”.

1937, февраль. Арест. Васильеву предъявлено обвинение по ст. 58, пункту 8 (“Совершение террористических актов против представителей власти”).

1937, 15 июля. Закрытое заседание Военной коллегии Верховного суда СССР. Приговор: расстрел, конфискация имущества.

1937, 16 июля. Расстрелян.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания произведений П. Васильева

Павел Васильев. Избранные стихотворения и поэмы. М., 1957. Предисловие К. Зелинского.

Павел Васильев. Избранное. Новосибирск, 1966. Предисловие С. Залыгина.

Павел Васильев. Избранное. Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1968. Предисловие С. Залыгина, биографическая справка С. Поделкова.

Павел Васильев. Избранное. Сердце человеческое, М., 1974. Предисловие С. Поделкова.

Павел Васильев. Избранное. Соляной бунт. Омск, 1982.

Павел Васильев. Избранное. Верю в неслыханное счастье. М., 1982. Вступительная статья Г. Тюрина.

Павел Васильев. Избранное. Стихотворения и поэмы. Алматы, 1984. Предисловие С. Залыгина.

Павел Васильев. Избранное. Весны возвращаются. М., 1991. Предисловие В. Солоухина, вступительные статьи к разделам Ю. Русаковой.

О П. Васильеве

П. Косенко. Павел Васильев (Повесть о жизни поэта). Алматы, 1967.

Е. Беленький. Павел Васильев. Новосибирск, 1971.

П. Выходцев. Павел Васильев (Очерки жизни и творчества), 1972.

А. Михайлов. Портреты. М., 1983.

И. Гронский. Из прошлого. М., 1991.

Воспоминания о Павле Васильеве. Алматы, 1989.
Составители С. Черных, Г. Тюрин.

Е. Туманский. Павел Васильев, каким его не знали. Самара, 1992.

Н. Солнцева. Китежский павлин. М., 1992.
Ст. Куняев, С. Куняев. РаSTERзанные тени. М., 1995.
Диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Т. Мадзигон. Творчество Павла Васильева. М., 1956.
С. Шаймерденова. Слово и образ в творчестве П. Васильева. Алматы, 1990.
В книге использованы материалы, хранящиеся в Павлодарском Доме-музее Павла Васильева.

СОДЕРЖАНИЕ

Мой Павел Васильев	5
Истоки	12
Путь к океану	23
Сибириада	46
“Хоть волос русый у меня”	67
Красные миражи	81
Восхождение	93
Любовь земная	114
Травля	142
Каким он был?	173
Высота	184
Голгофа	213
Воскресение	226
Венок славы	239

Литературно-художественное издание

Сергей Павлович Шевченко

БУДЕТ ВАМ ПОМИЛОВАНИЕ, ЛЮДИ...
(на русском языке)

Редактор М.К. Абдрахманова

Технический редактор С. В. Бейсенова

Корректор Г. Султанова

ИБ № 7

Сдано в набор 23.11.1998 г. Подписано в печать 15.02.1999 г. Формат 70x90¹/₁₂. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л 9,5. Уч. изд.л. 9,8. Тираж 2000 экз. Заказ № 7689.

Министерство культуры, информации
и общественного согласия Республики Казахстан

Издательство "Елорда"

473000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25.

Министерство культуры, информации
и общественного согласия Республики Казахстан

Республиканское Акмолинское производственное объединение "Полиграфия".

473000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25.